

ЛАРИСА РАЙТ



исповедь
старого
фома



Лариса Райт

Исповедь старого дома

«ЭКСМО»

2013

Райт Л.

Исповедь старого дома / Л. Райт — «Эксмо», 2013

ISBN 978-5-699-62162-0

Как много может знать старый дом, особенно если населяют его необычные люди! Его обитательницы, две женщины, не похожи между собой как огонь и вода, а между тем между ними так много, казалось бы, объединяющего – и родственная связь, и одна на двоих профессия. У каждой из женщин – своя боль и своя тайна, узнать которую можно, если вслушаться в скрип ветхих половиц...

ISBN 978-5-699-62162-0

© Райт Л., 2013

© Эксмо, 2013

Содержание

Пролог	5
1	8
2	11
3	13
4	25
5	28
6	35
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Лариса Райт

Исповедь старого дома

У каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь; каждое личное существование держится на тайне.

А. Чехов

Крайняя чувствительность создает посредственных актеров, средняя чувствительность дает большинство плохих актеров и только ее отсутствие дает великих исполнителей.

Д. Дидро

Пролог

– Это она! – завороченно скрипели ступени служебного входа, отзываясь мерным стуком на легкие прикосновения небольших каблучков. Высокие она не любила. Они не давали летать, умирляли стремление, отбирали свободу, а она всегда любила просто дышать глубоко и полно без всяких остановок.

– Это она! – дружески улыбалось зеркало гримерной, демонстрируя ровно наложенный тон, темные, искрящиеся серебром тени, подчеркивающие выразительный взгляд серых глаз; искусный румянец, что будет казаться естественным даже зрителям бельэтажа; красивую линию чуть тронутых помадой губ: полноватую, сочную, даже слегка припухлую нижнюю и изящную аристократическую верхнюю с ловко приклеенной над ней черной мушкой; и такие же черные, тугие, обрамляющие щеки и струящиеся по плечам навечно завитые кудри парика. А еще молодость, молодость, молодость...

– Это она! – восхищенно щебетали костюмерши и юные девочки-студентки из массовки.

– Это она! – злобно перешептывались вчерашние примы, ничего не забывающие и никого не прощающие.

– Это она! – оживленно гудел тяжелыми фалдами распахнувшийся занавес.

– Это она! – восторженно приняли ее поступь подмостки, подхватили и понесли навстречу мэтру, уже склонившемуся в центре сцены в немом поклоне, столь безыскусном и проникновенном, словно исполнен не в угоду режиссерскому замыслу, а лишь потому, что и сам великий актер хотел воскликнуть: – Это она!

– Это она! – радостным эхом подхватил его немой крик зрительный зал.

Она ответила реверансом, отдавая дань и автору, и постановщику, и лаврам партнера, и авансам, полученным от публики, затем выпрямилась, повернула голову чуть вправо, приподняла подбородок и замерла. Взгляд устремлен чуть выше прожекторов, на лице – мечтательная улыбка. И больше ничего: ни эмоции, ни шороха платья, ни дрожания пальцев – лишь тишина и молчание, пауза на несколько секунд. Но выдержанная так филигранно, с такой естественностью и простотой, что секунды эти кажутся именно той великой актерской игрой, которая дарует обычному спектаклю вечную жизнь.

Еще мгновение – и она дернет кистью руки, выпуская из сжатых рук платок, и повернется к залу. «Этот медленно планирующий кусочек шелка, – объяснял режиссер, – еще раз подчеркнет готовность героини перестать, наконец, заливаться слезами и начать действовать». Актриса не осмелилась перечить, хотя считала, что совершенно ни к чему отвлекать внимание зала от лица героини, на котором еще до начала монолога она собиралась отразить всю гамму обуревающих ее страстей и переживаний.

А потом – речь: сначала тихая, неторопливая, спокойная и почти равнодушная, будто безликая, но с каждым следующим словом словно набирающая силу, черпающая вдохновение из колодца давно сдерживаемых чувств. И наконец – свобода: безразличие и монотонность сменились пламенем, огненным вихрем, слетающим со сцены, вовлекающим зал в свой безумный танец, который проникает в души людей и играет на тех струнах, что через секунду заставят их вставать с мест, рукоплескать и снова и снова ликующе повторять: «Это она!», словно завидуя самим себе – счастливицам, сумевшим увидеть ее живую театральную игру. Всего несколько секунд – и монолог завершится. Едва уловимый миг между последним звуком и первым хлопком, а дальше – наслаждение: наслаждение триумфом, наслаждение победой, наслаждение заслуженной зрительской любовью. Что ж поделать, если другой она так и не сумела добиться? Возможно, теперь... Нет-нет, не «возможно», а совершенно точно: теперь ее оценят, теперь похвалят, теперь будут гордиться, теперь никто не посмеет усомниться в таланте и едко шептать за спиной обидные слова. Никто. Никто. Даже та, на благосклонность которой она уже давно не рассчитывала, но все еще о ней мечтала. Итак, еще чуть-чуть – и грезы станут реальностью.

Она замолчала. Приготовилась принять аплодисменты и крики «Браво!», ждала восторга, преклонения, милого сердцу и мыслям знакомого гула: «Это она!»

Дождалась. Кто-то настойчиво, с плохо скрытым любопытством шептал совсем рядом с ней:

– Это она?

Голос звучал так близко, что она даже решила обернуться и посмотреть, кто из партнеров так глубоко проник в ее мысли, что позволил себе злую шутку. Она попыталась пошевелиться, но не смогла, а возбужденный шепот между тем не прекращался:

– Это она? Это она? – допытывалась невидимка.

– Кажется, да, – тихо отвечала другая. – Жаль, такая красивая...

– Жаль, – согласилась первая.

Актриса все пыталась увидеть, что происходит. Почему не звучат аплодисменты? Кто позволил двум незнакомкам врываться на сцену и срывать спектакль?! Что происходит, почему костюм, в котором она свободно двигалась всю пьесу, стал вдруг таким тяжелым, что не просто не позволяет сделать шаг, но даже головы повернуть не дает? Вот полный людей зрительный зал, вот их ладони, неистово хлопающие, вот стремящиеся с цветами к сцене особенно преданные поклонники, вот спешащие на поклон из-за кулис актеры, а вот и она сама, ждущая их у рампы, сияющая молодостью, красотой и успехом. Вот же она! Она там!

Внезапно она вспомнила. Там – это во сне, в воображении, в воспоминаниях. Она не там, она здесь. Здесь – в больничной палате. Она не стоит, она лежит. И не в легком воздушном платье, а в тяжелом гипсе, сковывающем все тело, словно стальной скафандр. Она не двигается, не говорит и не видит. Не говорит, потому что изо рта торчит ворох трубок, которые иногда вынимают, и тогда она шепчет неповоротливым сухим языком что-то, что собравшаяся у ее постели куча белых халатов даже не старается разобрать. А не видит потому, что глаза практически все время сдавливают тугая повязка. Раз в день повязку снимают – и тогда она встречается взглядом с одним из врачей, видимо главным, который внимательно всматривается в ее лицо, качает головой и каждый раз говорит, обращаясь то ли к ней, то ли к коллегам, то ли к самому себе: «Ну, ничего, ничего».

Ей так хотелось разгадать тайну этих слов! Если бы только врачи и медсестры хоть на мгновение отвлеклись от бесконечных манипуляций с проводками, трубками, ампулами и мешочками с жидкостью, которые они старались поменять как можно быстрее, чтобы ее голос не успел окрепнуть до момента, пока ей опять не дадут говорить все эти медицинские штучки. Если бы они это сделали, если бы потрудились узнать, если бы наклонились поближе к ее непослушным губам, они бы, возможно, расслышали то, что она пыталась им так долго и настой-

чиво сказать. Долго. Сколько? Несколько дней? Недели? Месяцы? Она не знала. Знала только, что каждый раз, когда ощущала свободу от трубок, силилась получить то, что все объяснило бы, то, что могло дать надежду или отнять ее навсегда, то, что раньше было ей лучшим другом, а теперь грозило превратиться во врага. Она хотела получить лишь одно и лишь одно слово беспрестанно твердила. Но разве ее вина, что окружающие слышали лишь тягучее, еле различимое «э-э-э-о-о-о» вместо такого понятного и такого необходимого ей зеркала.

Они не прислушивались: суетились рядом, мельтешили, спешили куда-то, словно не давали себе шанса остановиться, присмотреться и выдохнуть удивленно: «Это она?»

– Это она.

Ни вопроса, ни придыхания, ни восторга. Даже в созданной бинтами темноте она будто видит пренебрежительный жест, брошенный в сторону ее кровати.

А кто она? Всего лишь одна из тех, кому надо вовремя ставить градусник и совать утку. Таких у младшего персонала хватает. Кто-то пришел навестить больного? Ну и прекрасно. Значит, какое-то время об этой палате можно не вспоминать. Кто же к ней пожаловал на этот раз? Курьер с цветами от съемочной группы? Петенька с конфетами, которые она не то что есть, даже понюхать не может? Или завтруппой с носовыми платками, в которые она шумно сморкается между скорбными всхлипами и вздохами «что же теперь будет». Что ее ждет: шорох букета, сидящее в печенках занудство, «что он же ее предупреждал и уж теперь-то она наконец одумается, включит голову и станет жить как все» или фальшивые рыдания, перемежаемые рассказами о том, кому отдали ее роли, кто поселился в гримерной и с кем теперь спит главный режиссер? Будто она с ним когда-то спала!

Посетитель все еще молчал, даже дыхания не было слышно. Но его присутствие она чувствовала спрятанной под бинтами кожей.

– Это я.

Если бы она только могла удивиться, или гневно воскликнуть, или презрительно процедить: «Ты»... Но она лишена этого счастья. Она уже представляла себе встречу, мысленно готовилась к ней и упивалась тем, как обдаст холодом и накажет за все. И, конечно, ни разу не подумала о том, что во время свидания она не сможет произнести ни звука. Что ж, пути Господни неисповедимы...

1

Чувство, в которое дом погрузился два месяца назад, все еще оставалось для него новым. А все от того, что удовлетворить его пока никак не удавалось.

Двухэтажному хорошо утепленному срубу на берегу реки Вятки были знакомы многие ощущения. Он помнил открытое, спокойное счастье, что царило в каждой комнате лет сорок назад. Тогда новый, пахнувший сосной и лаком дом впервые увидел женщину и ребенка. Мужчину он уже принимал как хозяина – тот целый год доводил дом до ума, прилаживая дощечку к дощечке, все время что-то выпиливая, выстругивая и подчищая. Нет, были и другие мужчины, которые сверлили стены дома, стучали по ним молотком, выкладывали печь и тянули провода, но по всему выходило, что главный был этот, первый. Он хоть и появлялся реже других, но всеми командовал и больше всех радовался, когда стройка закончилась и остальные мужчины, собрав инструменты, уехали. Он же остался и еще долго ходил из комнаты в комнату, любовно поглаживая бревна. Несколько раз подходил к окну, смотрел на реку и все повторял довольно: «Эх, заживем!» А на следующий день привез женщину и ребенка.

Ребенок был совсем маленьким. Его держали на руках, а потом положили в колыбель, и дом перестал удивляться и гадать, кто может поместиться в такой малюсенькой кроватке. Мальчик (дом слышал, как мужчина и женщина называли его «наш мальчик») безмятежно спал, и дом старался ничем не нарушить младенческий сон: ревностно следил, чтобы нигде не хлопнула ставня, не скрипнула половица. А люди, казалось, нисколько не заботились о сохранении тишины: бегали, таскали коробки, звенели посудой. А потом женщина вышла на крыльцо и громко воскликнула: «Какое счастье!» Мужчина, стоявший неподалеку, довольно засмеялся. И дом сразу перестал сердиться на шумных хозяев, забывших о своем детеныше, потому что вспомнил о своих соседях: таких же деревянных срубах, скрытых заборами и тенью высоких сосен. И пусть об их присутствии напоминали лишь поблескивание черепиц среди ветвей и дым, вырывающийся пушистыми клубами из пышной хвои, – они не могли не слышать того, что в еще совсем недавно пустых и казавшихся им смешными и неказистыми соседских владениях поселилось счастье.

Дом и сам испытывал тогда нечто похожее на это чувство. Он был молодым, новым, полным сил, блеска и чистоты. Он не знал еще ни пыли, ни рухляди, которая спустя годы осядет на чердаке, не давая свободно дышать, не было недовольства людей облупившейся краской или покосившимся крыльцом, не ведал неприятных воспоминаний – одни лишь светлые надежды и ясный, ничем не замутненный взгляд в будущее. Дом жил радостным ожиданием, подслушивая разговоры хозяев и планы «поставить следующим летом качели и горку», «разбить к сезону небольшой прудик», «поменять мебель в спальне». Дом впитывал в себя эти мечты, и даже когда наступала поздняя осень, запирали ставни и новая встреча откладывалась надолго (может, заглянут зимой погреться у камина и пробежаться на лыжах по сосновому лесу, а может, не случится оказии, и придется пустовать до лета), дом продолжал слышать голоса и представлять радостно хохочущего ребенка, летящего с горки, мужчину, сидящего с удочкой на берегу пруда, и женщину, стелющую покрывало на новую кровать. Дому не было грустно. Ему было хорошо и спокойно, так как, скрытый от жизненных бурь за высоким забором и безмятежным существованием хозяев, он даже не предполагал, что очередным летом они не придут.

Они не приехали. Поначалу дом не слишком волновался. Он слышал, как чужие голоса среди сосен возбужденно рассказывали об отдыхе за какой-то границей. Что это за место, дом точно не знал, но понял, что людям оно очень нравится, потому что там теплое чистое море, в котором воды гораздо больше, чем в выкопанном на участке прудике, много солнца, никогда не видного здесь за маковками сосен, и неслыханное количество еды, которую не надо гото-

вить самим. Что ж, дом мог понять желание людей отвлечься и отдохнуть пару недель где-то еще. Он часто слышал, как охал мужчина, опуская тяжелый топор на не желающее поддаваться полено, и как ругалась женщина на очередной раз забарахливший газовый баллон. А еще в грозу отключали электричество, и вода только из колодца, и пруд после дождя выходил из берегов и заливал и без того покрытые глубокими лужами дорожки... Мужчина тогда клал мостки, женщина надевала резиновые сапоги себе и мальчику, и они осторожно гуляли по саду. Мужчина ходил за ними с какой-то странной штуковиной в руках, которая громко щелкала и выплевывала серый картонный квадрат, на котором через несколько минут появлялось изображение людей. Мужчина громко командовал, где встать его домочадцам и куда посмотреть, а потом с гордостью протягивал женщине картонные квадратики. Та смеялась и говорила с иронией: «Ну, просто Венеция!» Очевидно, женщина не была в восторге от этой самой Венеции, и раз уж участок напоминал ей это загадочное место, не было ничего странного в том, что она решила провести недельку-другую подальше.

Но они не вернулись ни через неделю, ни через две, ни через месяц. В конце июля приехали совсем другие люди. Дрова они не рубили, шашлыки не жарили, рыбу не ловили. Потом отыскиали в сарае толстую пленку и накрыли ею горку. Дом даже обрадовался, потому что к тому времени уже устал слышать истошные бабские крики:

– Светка, отзынь от горки, тебе сказано! Убьешься, дуреха!

Дом распрощался со счастьем и познакомился с усталостью и раздражением, которое испытывали новые жильцы и к нему, и друг к другу. Впервые дом с нетерпением ждал конца сезона, и впервые ему казалось, что и люди не могут дождаться окончания своей добровольной ссылки.

Наступила осень, и дом познакомился с нетерпением и беспокойством. Он подгонял время и все время думал о том, вернутся ли те, к кому он привык.

Они не вернулись. Теперь дому каждое лето приходилось открывать свои двери новым хозяевам. Сначала он тосковал, а потом привык и начал вбирать в себя, как старый сундук, новые, интересные чувства. Люди приезжали, ходили с любопытством по комнатам, заглядывали в шкафы и под кровати – изучали обстановку. А дом изучал людей. Спустя несколько дней люди привыкали к обстановке, и дом проникался их настроением и уже не видел в них ничего нового, интересного и удивительного. Он на-учился разбираться в человеческих страстях, простых и понятных. Дому приходилось впускать в свои комнаты нежность и грубость, власть и страх, горе и безразличие, похоть и целомудрие – и все эти чувства вместе с их обладателями не будоражили его воображение. Дом клеил ярлыки (этот – чурбан, тот – эгоист, один – жалкий пессимист, другой – жизнерадостный кретин, третий – в общем, неплохой человек, но и только) и погружался в равнодушный сон удовлетворенного хозяина, знающего, чего ожидать от постояльцев.

Но последние несколько месяцев дому не спалось. Он бы с удовольствием позволил себе перестать наблюдать и подслушивать, но новое, неведомое доселе чувство, что вызывала в нем вновь прибывшая пара, не давало этого сделать. Впервые с момента постройки дом испытывал настоящее, жадное любопытство, которое не только не утихало, а с каждым днем вспыхивало все сильнее: «Кто они?», «Зачем сюда приехали?», «Надолго ли?»

Дом привык делать выводы из разговоров, но эти женщины почти все время молчали. Одна лежала на кровати, другая ухаживала за ней: споро, быстро, без церемоний и без всякой жалости. Та, что лежала, иногда начинала плакать, тогда другая хмурилась, хлопала дверью и уходила на улицу. Нервно ходила вокруг дома, потом успокаивалась, возвращалась, кипятила чайник, наливала в розетку варенья и отправлялась поить лежащую. Та уже не плакала, с удовольствием прихлебывала из кружки и удовлетворенно кивала, радуясь то ли возвращению сиделки, то ли сладкому угощению.

Дому хотелось расспросить собаку, пожаловавшую вместе с женщинами, но та никогда не оставалась одна, все больше бегала хвостом за ходячей: с крыльца в сад, из сада в сарай и обратно, из кухни в комнату, с террасы на чердак – и так целый день. Даже за ворота она отправлялась вместе с хозяйкой. А когда шел дождь, женщина строго говорила: «Останься!» – и собака поджимала хвост и нехотя направлялась в комнату больной. Со вздохом устраивалась на коврик у кровати, отбывая повинность, но уже через минуту, почувствовав на своей шерсти женскую руку, переворачивалась и, довольно урча, подставляла человеческим ласкам свое розовое, покрытое репьями брюхо. Женщина неторопливо водила по нему рукой, пытаясь осторожно освободить животное от колючек, собака похрапывала, и дом не решался нарушать это неожиданно образовавшееся единение. На ночь же собака неизменно устраивалась спать у ходячей в ногах, не обращая внимания на скрипы любопытного дома. Лишь иногда, когда, не выдержав гнетущей тишины, дом вдруг особенно сильно хлопал в ночи оконной рамой, собака поднимала морду и предостерегающе рычала, отбивая всякое желание подкрадываться к ней с вопросами.

Дом мучило любопытство, но ему ничего не оставалось делать – только ждать.

2

– Я не хотела этого делать, понимаете? Просто бес попутал, прости Господи! – Женщина судорожно всхлипнула.

– Успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста!

– А прежний-то батюшка говорил: «Поплачь, Матрена, все легче будет». – В голосе послышалось разочарование и недоверие.

– Слезами горю не поможешь, – нашел он выход из положения.

– Что правда, то правда, – прихожанка снова была в его власти, – от рева только глаза покраснеют, а толка не будет. Вы уж помолитесь за меня, отец, попросите там наверху, чтоб сильно не гневался, у меня же дети, я ж ради них только, не ради наживы.

– Важен проступок, а не причины, на него сподвигнувшие.

– Вы так думаете? – пугается женщина.

Нет, он так не думал, хотя прекрасно знал, что десять заповедей – незыблемые постулаты, которым неведомы «если», «но» или «в случае». Все по букве закона, все согласно учению. Есть только белое и черное, серого быть не может. Надо только так, а не иначе: вор сидит в тюрьме, грешник горит в аду. Если бы так все и было, тюрем бы не хватило, а рай бы остался пустым. А потому:

– Ступай с Богом.

Женщина, назвавшая себя Матреной, ушла успокоенная. Она вернулась домой, отрезала от подвешенной в погребе украденной коровы очередной кусок отличного мяса и, напевая под нос песенку, отправилась варить детям борщ, напрочь позабыв о душевных терзаниях, владевших ею последние несколько дней. Матрена опустила мясо в кастрюлю и улыбнулась: «Хороший священник, немногословный, проповедей не читает, моралью не кичится и по носу за грехи не щелкает. Надо будет ему не только про корову, но и про муженька Наташкиного рассказать». Матрена же не виновата, что Наташка рожей не вышла, а у нее и статья, и краса в наличии, а вот мужик отсутствует. Ну и случается, привечает она Наташкиного, что такого? Такого не такого, а не по-людски, конечно, надо бы покаяться. Хотя этот новенький может и не понять, уж больно интеллигентный. Как бишь зовут-то его? То ли Сергей, то ли Петр... А и ну его к лешему до следующей исповеди.

Следующую исповедь Михаил прослушал. Нет, он, конечно, помнил, что каяться пришел мужчина, что мужчина этот говорил громко и нервно, но ни в одно слово из его громкой речи Михаил не вникнул. И не потому, что речь была сбивчивая и путаная, а потому, что разобрать суть он и не пытался. Только вставлял изредка, когда вдруг понимал, что наступило молчание, короткие фразы:

– И что же было дальше?

– Продолжай, сын мой.

– На все воля Божья.

Единственно, что он запомнил, – и второй «клиент» ушел довольным и успокоенным: благодарил долго и энергично и все норовил поклониться в пояс и поцеловать Михаилу руку.

К концу дня у Михаила звенело в ушах от душещипательных историй, дрожащих голосов, несдерживаемых рыданий и бесконечных благодарностей. Украденные коровы перепутались с чужими женами и мужьями, утаенным наследством, приблудными детьми и грязной ложью, и он совершенно уверился в том, что чистых и неиспорченных личностей не осталось ни в этой деревне, ни на всем белом свете.

– Как вы это выдерживаете? – Михаил брезгливо скинул с себя рясу и прислонился к деревному косяку, скрестив на груди руки.

С кровати ему улыбалось то, что осталось от некогда ладного, отличавшегося здоровьем, крепким сложением и добрым нравом местного батюшки. Одни глаза (по-прежнему живые и лукавые) и спутанная, длинная, но ставшая очень редкой борода, которая чуть заметно зашевелилась и тихо произнесла:

– Так я и не выдержал, сынок.

– Вам бы все шутки шутить.

– А что же прикажешь в моем положении делать, плакать, что ли?

Михаил промолчал, не знал, что ответить. Слишком богатой была гамма овладевших им чувств. Он и не понимал этого умирающего старика, потратившего жизнь на таких безнравственных и по большому счету равнодушных к праведной жизни прихожан, и одновременно восхищался им, его целеустремленностью, его нестигаемостью и его желанием до последнего вздоха противостоять неизлечимой болезни, не забывая о взятых на себя обязательствах по руководству паствой.

– Ты одежку-то повесь, сынок. Не разбрасывай понапрасну. – Больной даже сделал попытку приподнять кисть и указать Михаилу на брошенную у порога черную рясу.

Михаил послушался, хотя все еще ощущал неприязнь при соприкосновении с этим предметом. Ему казалось, что ткань пропиталась тем огромным количеством лжи, что он сегодня услышал, а главное, пропиталась той ложью, которую нес в себе он сам.

– Повесил, – зачем-то доложил он, будто имел дело со слепым.

– Вот и славно. В следующий раз наденешь как новенькую: ни складочки, ни залома.

– Не будет никакого следующего раза, – буркнул Михаил, – пойду суп разогрею и покормлю вас, – добавил он сердито и вышел из комнаты.

Михаил давно уже грохотал на кухне посудой, а старик все смотрел любовно на расправленное одеяние священнослужителя, жевал губами жесткие волоски бороденки, будто обдумывал что-то. А потом принял решение, понимая улыбку и тряхнул головой. Тряхнул слишком сильно, не рассчитав, и улыбка моментально сменилась гримасой отчаяния и боли. Однако через мгновение сила духа была восстановлена, и больной смог произнести четко и уверенно, громко ровно настолько, чтобы у того, кто стучал тарелками за стеной, не осталось ни малейшего сомнения в том, кому это предназначено:

– Еще как будет.

3

– Стук! Стук! Стук! – Молоточек выводил одну и ту же дробь уже полчаса.

Собака спокойно спала, не обращая никакого внимания на надоедливый звук, в комнате у лежачей работал телевизор, и дом предпочитал следить за страстями героев в триста пятьдесят четвертой серии низкопробного сериала, а не пытаться понять смысл действий второй женщины. Захотелось ей разобрать на части буфет на террасе – что ж, дом возражать не может. Все одно, времена, когда за стеклами буфета сверкали многочисленные ряды банок с собственноручно сваренным вареньем и цветные фантики шоколадных конфет, которые та, первая, женщина прятала от ребенка, давно миновали, так что жалеть не о чем. Ну, не будет больше старый деревянный друг скрипеть петлями и хранить посуду, ну, найдут для фарфоровой балерины и железного льва другой уголок, где они застынут в своих незамысловатых позах, – ну и ладно. Хотя если бы дом мог, он все же попросил бы женщину не добивать буфет окончательно. Не нравится тебе вещь – пожалуйста, не пользуйся, никто не заставляет. Отдай другому или отвези на свалку, но зачем же издеваться и колошматить битый час по одному и тому же месту? У бедного буфета, наверное, в правом верхнем ящике уж ни щепочки целой не осталось.

– Стук! Стук! Стук!

– Мария, если не выйдешь за меня, я покончу с собой.

– Стук! Стук! Стук!

– Петр, ты говоришь страшные вещи!

– Стук! Стук! Стук!

– Хр... Хр... – Собака спит и не интересуется сериалом.

– Мария, я все-таки настаиваю!

«Какой же идиот этот Петр», – мысленно покачал крышей дом, вглядываясь в экран телевизора.

– Стук! Стук! Стук!

«Бедолага буфет, – сочувственно скрипнула лестница, на которую опустилась женщина с молотком, – жалко его».

«Жалко, что краску не удалось отколоть до конца. Теперь цвет получится чуть темнее задуманного. Конечно, можно будет поиграть светом и с помощью ламп достигнуть нужного оттенка. Но это только в вечернее время суток. При дневном цвете буфету придется щеголять чуть более теплым, чем запланированный, темно-бежевым цветом корпуса. Может, постучать еще? Нет, пожалуй, не стоит. Старые доски, скорее всего, просто не выдержат подобного издевательства и превратятся в щепки. И тогда вместо спасителя она станет убийцей. Не хотелось бы».

Анна легко спрыгнула со ступенек, отбросила молоток, склонилась над большой картонной коробкой, вытащила оттуда шлиф и снова склонилась над буфетом.

– Вжик! Вжик! Вжик! – разнеслось по дому, но никто не обратил внимания на новый звук: собака спала, с подушки лежачей женщины тоже слышалось мерное похрапывание, дом сопереживал героям сериала, а лестница предпочла оглохнуть и ослепнуть (а ну как, чего доброго, ее тоже начнут шкурить, шлифовать и обстукивать?).

Анна работала быстро, то и дело поглядывая на часы. Она знала: в ее распоряжении – полчаса, не больше. Распорядок дня у нее был как при жизни с грудным младенцем, нуждам которого необходимо подчинить все свое существование. Полностью свободные минуты выпадали редко, и мысли, что необходимы они не для отдыха и восстановления сил и душевного равновесия, а для того, чтобы все обитатели дома не умерли с голода, часто угнетали Анну, сдавливали горло и не давали свободно дышать. А разве можно сотворить что-то прекрасное, когда тебе не хватает воздуха? Однако стоило ей заставить себя подойти к мебели, окинуть

вещь критическим взглядом, присмотреться к моментально возникающим в голове образам – и она чувствовала, как дыхание восстанавливается и как с каждым движением руки, с каждым новым мазком шлифа по дереву к ней возвращаются силы и потерянное ощущение значимости бытия. В такие моменты из обычной, даже несчастной женщины Анна превращалась в сильного, всевластного Пигмалиона, которого не пугали никакие препятствия на пути к своей Галатее.

– Ну-ка, выключи шарманку! – донеслось из комнаты, и Анна тут же почувствовала, как кто-то невидимый выдернул из нее клапан, удерживающий воздух.

– Ты уснула, а серия еще не закончилась, – сказала она на пороге «палаты» (так про себя Анна называла комнату лежачей). – Я думала, вдруг проснешься, а телевизор выключен. Ты бы расстроилась.

– Индюк тоже думал. Ты что, на часы не смотришь? Уже пятнадцать минут эти болваны языками чешут. Ты же знаешь, я не переношу новости.

– Хорошо-хорошо, не нервничай, – примирительно произнесла Анна, послушно выключая телевизор. – Будешь ужинать?

– Не знаю теперь. Эти звуки испортили мне аппетит.

Это было уже чересчур.

– Как хочешь, – Анна приготовилась исчезнуть из палаты.

– Ладно. Что там у тебя?

– Картофельные зразы, манные биточки или тефтели с рисом.

– Сколько раз можно повторять, что я хочу нормальный кусок жареного мяса?!

Анна про себя досчитала до десяти. В отличие от телевизионных сериалов в ее собственном никто не придумал ограничения бюджета, а потому скучные эпизоды с плохой актерской игрой повторялись изо дня в день с незначительными изменениями, постоянно доводя сюжет до кульминации, но при этом ни на йоту не приближаясь к разрешению конфликта. «Десять», – мысленно закончила Анна.

– Тебе пожарить?

– Ты еще издеваешься! Чем я, по-твоему, должна буду жевать?

– Ты будешь есть или нет?

– Давай биточки. Надеюсь, они не пересолены. И не перегрей, будь добра. В прошлый раз я обожглась.

Дом сочувственно наблюдал за хлопотавшей на кухне Анной. Она что-то мурлыкала себе под нос, то и дело поглядывая на буфет. А несколько раз даже погладила его, проходя от стола к холодильнику и обратно. «Ну, если для того, чтобы не рыдать всякий раз после подобных диалогов, а петь песенки, ей так уж надо избавиться от буфета, то и бог с ним», – решил дом.

Ему нравилась эта женщина, он ей сочувствовал, жалел ее, но не понимал. Старался понять, но не мог. А так хотелось удовлетворить свое любопытство и понять, почему она терпит все упреки и издевательства, почему живет здесь, почему заботится о больной вместо того, чтобы послать к черту старую ведьму, не испытывающую никакой благодарности к чужому труду. Если бы та хотя бы иногда вставала с постели, дом постарался бы что-нибудь придумать, чтобы выволить свою любимицу из странного плена. У лестницы давно прохулились ступеньки, и одна вполне могла проломиться под тяжестью грузного старческого тела. Видывал виды и ржавый, давно забытый за дверью охотничий капкан, который «нечаянно» свалившаяся с ветхого гвоздя кочерга могла заставить выкатиться в темень ночной террасы и притаиться у ног бредущей в туалет ведьмы. Но больная с кровати не поднималась, и, как назло, над ее кроватью не висело ни полки и ни картины, угол которой мог бы «невзначай» врезаться в висок спящей. Дом перебрал множество вариантов, начиная с распахнутых окон во время отсутствия Анны (глядишь, заработает старуха пневмонию и окочурится) и заканчивая планами самопо-

жертвования на пожаре. Но Анна, уходя, неизменно запирала ставни, а на пожар смелости у дома хватало лишь в воображении.

В общем, при всем желании помочь женщине дом ничем не мог, а она, в свою очередь, хоть и не подозревая об этом, ничем не помогала ему в удовлетворении любопытства. Гостей не приглашала, по телефону не болтала и душевных разговоров не вела даже с собакой. Дом заскучал и даже, в конце концов, перестал думать об уничтожении лежачей, потому что в этом случае мог лишиться последнего своего развлечения, которое не требовало ни тяжких раздумий, ни душевных терзаний: просмотра телевизора.

Анна к ящику практически не подходила. Включала на террасе минут на десять, слушала тех самых людей, которых старуха обзывала болванами и которые каждый день сыпали длинными текстами под названием «новости». Иногда новости заставляли Анну улыбаться – и тогда дом думал, что ведьма, как обычно, придирается и зря ругает милейших людей, рассказывающих о каких-то изобретениях, или благотворительных фондах, или о новорожденных тигрятах в зоопарке. Но чаще Анна все же хмурилась и с недовольным видом выключала телевизор, бормоча себе под нос что-то о несправедливости жизни, природных катаклизмах и стране идиотов. И тогда дом тоже сердился на «болванов» и приходил к выводу, что даже старуха иногда оказывается не так уж не права. Единственное, что мешало дому окончательно выстроить свое отношение к сидящим по другую сторону экрана людям, было все то же неудовлетворенное любопытство.

– А теперь новости культуры, – сообщал ведущий и лучезарно улыбался, и в то же мгновение раздавался щелчок. Экран гас, а дом вглядывался в лицо Анны. Оно было равнодушным и непроницаемым, но дому все чудилось что-то особенное, и казалось, что таинственные новости культуры не были женщине неинтересны, а нежелание их слушать было вызвано совсем иными, загадочными причинами.

– Ну-ка, принеси биточки, в конце концов! Целый час возишься!

Чаще всего эти окрики заставляли спину Анны вытягиваться в тугую струну, готовую вот-вот лопнуть, но сегодня она лишь отозвалась еле слышно:

– Сейчас, – и продолжила разглядывать буфет.

«Да пусть хоть всю мебель переломает», – решил дом, успокоенный благодушием Анны. Может быть, хотя бы сегодня она не станет горько и безутешно плакать, перед тем как заснуть.

– Ну-ка, ты идешь или нет?

– Ты идешь или нет? – Дверь в комнату возмущенно скрипнула и с грохотом захлопнулась.

Аля нехотя оторвалась от зеркала. Неужели так сложно понять, что мельком брошенный на бегу взгляд никак не позволит оценить себя придиричиво и удостовериться, что внешность лишена каких-либо изъянов. Девчонки любили посмеяться над ней и поучить: мол, на пробы не стоит приходить расфуфыренной, все одно гримеры все сотрут и свое нарисуют. Только Аля не слушала, она не собиралась появляться на студии без искусно подведенных, превращенных в кошачьи, глаз, без накрученной челки и изящных тупелек на каблуках. И если после увиденного режиссер решит взять на роль серую мышку без грамма косметики и в бабушкиных сапогах, что ж, это проблемы режиссера, а не Али. Что же это за режиссер такой, который пренебрегает мнением классика? Чехов же ясно выразился: «В человеке все должно быть прекрасно».

Впрочем, знакомство с классической цитатой Аля предпочла ограничить первой половиной. То ли потому, что вторую попросту никогда не слышала, то ли от того, что в отличие от лица и одежды, которую она лихо шила сама, душа и мысли у нее были далеки от прекрасного.

Милашкой и симпатюлькой называли ее постоянно, везде и всюду. Аля с младенчества привыкла к всеобщему восхищению своими густыми волосами, чудесным личиком, белой

кожей, а потом и ладной фигуркой. В школе особых успехов она не выказывала, хотя следует признать, что в послевоенные годы сельская школа была не слишком расположена к поискам новых ломоносовых. Страна нуждалась в мичуриных и стахановых, лозунгом праведной жизни был «Мир. Труд. Май», и Алино равнодушие к знаниям занимало мысли ее родителей в десятую очередь. На первых же девяти местах прочно закрепилось желание привести любимый колхоз к высоким показателям, перевыполнению плана, ударной пятилетке, а там, глядишь, и к полной и безоговорочной победе коммунизма. От дочери требовалось соответствовать гордому званию советской девушки, и поскольку, несмотря на яркую внешность и частое самолюбование, ни в чем более греховном она замечена не была, родители держали ее на длинном поводке: учебной голову не морочили, друзей не навязывали и вставать спозаранку хлопотать по хозяйству не заставляли.

– Успеется, – одергивала мать отца, который, бывало, сетовал на то, что соседские девки до школы успевают скотину на пастбище выгнать да свиней накормить, а «Алька знай себе спит, не тревожится».

– А чего тревожиться-то? Нагоняет еще коров-то на своем веку, – отвечала мать. – Пусть поспит девка. Это у Лопуховых, да Сидоровых, да у нас по одной корове, а у нее с такой внешностью муж наверняка председателем колхоза будет, ей, помяни мое слово, за всех коров отвечать придется. Пойдем лучше, а то опоздаем. Алька, слышь, хватит дрыхнуть, в школу пора!

Хлопала дверь, родители уходили, а Аля вскакивала и усаживалась перед зеркалом. Представляла, как с хворостиной в руках сгоняет коров на колхозные луга, и залиvisto хохотала. Хмурилась, топала ножкой и злобно, отчего лицо ее перекашивалось и теряло привлекательность, бросала своему отражению: «Не бывать этому!» Потом не спеша одевалась, перекадывая на кровати все свои три платья и несколько лент и перемеривая все это, прежде чем сделать окончательный выбор. Затем выпивала пустой чай и лениво жевала яблоко, скормливая оставленные матерью теплые пирожки кошкам. «Не хватало еще располнеть, как другие девки, чтобы старушки на околице смотрели тебе вслед и, не стесняясь, одобряли: «Хорошая кость, широкая, рожать легко будет».

Ни полнеть, ни тем более рожать Аля не собиралась, а потому предпочитала держаться в стороне и от жирной пищи, и от деревенских парней, что косились на нее с нескрываемым удовольствием и всячески демонстрировали интерес, то прохаживаясь под окнами, то оставляя на пороге полевой букетик, то провожая скользкой шуточкой, а то и спрашивая позволения родителей свозить дочь в райцентр в кино.

На хождения под окнами Аля внимания не обращала, букеты отдавала жевать лошади, на шуточки отвечала едкими колкостями, а вот от поездки в кино не отказывалась никогда и ни с кем. Она бы, не задумываясь, пошла с самим чертом, лишь бы еще раз увидеть Аллу Ларионову в «Садко» или несравненную Джину с плохо выговариваемой и от этого лишь более притягательной фамилией Лолобриджида в «Фанфане-тюльпане». Аля сидела в кинотеатре, впившись ногтями в подлокотники, закусив губу, и, не отрывая восхищенных и одновременно завистливых глаз от экрана, не забывала время от времени отмахиваться, как от мухи, от настойчивых рук очередного кавалера. Она была настолько увлечена действием и героями, что, даже выйдя из кинотеатра, продолжала витать в облаках. Такое пренебрежение отталкивало даже самых настойчивых поклонников, и на второе приглашение не отваживался практически никто.

– И не обижает тебя такое отношение, Алюша? – иногда спрашивала мать, хотя саму ее не могла не радовать неприступность дочери.

– А чего обижаться-то? – недоуменно вскидывала девушка выщипанные в ниточку брови.

Ее обижало совсем другое. Богини царили на экране по праву. Они были шикарны, восхитительны и недостижимы. Аля же, хоть и вызывала восхищение, шикарной выглядеть не могла ни в одном из своих трех платьев, а недостижимость ее была вполне условной. Хоть и слыла недотрогой, а все же ходила по одним и тем же улицам, сидела за соседней партой, на нее

можно было поглядеть при желании практически в любое время, а при определенной наглости даже и потрогать, пусть рискуя отхватить затрещину. Аля, несмотря на внешность и отстраненность, оставалась для односельчан своей, а она мечтала стать чужой, стать такой же далекой, как кинозвезды. Но где они и где она, Аля? У них и слава, и стать, и талант. А у нее? У нее ничего нет, даже имени. У них вон какие звучные: «Алла», «Джина», «Софи»... А у нее какое-то цветочное: «Аля». Хотя с таким еще можно смириться, а вот когда мать осерчает да начинает Алевтиной звать, тут хоть уши от стыда затыкай.

Так Аля и жила, прочно заблудившись к пятнадцати годам посреди трех платьев, пяти лент и мрачных мыслей о несправедливости жизни. Восемь классов остались позади, и пришло время нелегкого выбора между немедленным определением в колхоз или попыткой поступить в одно из трех имевшихся в райцентре училищ. Ни поваром, ни учителем, ни медсестрой Але быть не хотелось, но перечить родителям не решилась. «Все, что угодно, только не коровы», – мысленно произнесла она и отправилась в район.

– Поварское, – радостно объявила она родителям по возвращении.

Председатель колхоза радостно потер руки: «Глядишь, в столовой появится повариха с пригожей внешностью и новыми рецептами».

Отец задумчиво произнес:

– Ох, потравит нас Алька! Сроду же в руках поварешки не держала.

Мать лишь отмахнулась:

– Все работы хороши. А почему повар-то, дочь? Провалилась в других-то, что ли?

– Ага, – смиренно кивнула девушка. – Там экзамены сложные.

Вполне возможно, что если бы она и попробовала поступить в медицинское или педагогическое, то действительно не прошла бы конкурс, но на пороге этих училищ Аля даже не появилась. Все решили первые секунды ее пребывания на пороге кулинарного техникума. Еще от дверей увидела она восхитительную Валентину Серову, призывно улыбающуюся ей с доски объявлений. Надпись под портретом актрисы гласила: «А ты записался?» Аля увидела объявление о наборе в драмкружок училища, и в голове тут же замелькали дивные картинки грядущего. Путь от сценической самодеятельности к мировой славе не так уж далек и тернист, решила девушка.

С этого момента рационы, диеты, рецепты, порции и прочая не совсем понятная терминология, которой пестрела остальная часть стенда, стремительно ворвались в доселе относительно спокойное и довольно унылое Алино существование. Впрочем, должного внимания основным предметам Аля не уделяла: преподавателей не слушала, витала в облаках, постоянно что-то пересаливала, пережаривала и недоваривала. Девушке было некогда следить за сковородками и кастрюлями, у нее были дела поважнее: она то гадала, когда же начнутся долгожданные занятия театральной студии, то размышляла, в какой пьесе ей дадут главную роль, то вдруг начинала репетировать воображаемые диалоги и, задумавшись, даже подавать реплики, от чего педагоги приходили в замешательство, сердились и грозили отправить ее после экзаменов в казарму:

– Там меню нехитрое: справишься.

Аля не обижалась. Она легко представляла себя в казарме. Только не в качестве поварихи, конечно. Вот она поет про синий платочек, вот вальсирует с каким-нибудь важным офицером, вот читает стихи. Какие бы стихи почитать? Кроме «Лукоморья» и «Белеет парус одинокий», девушка мало что знала и помнила. Впрочем, к тому времени, когда она окажется в какой-нибудь знаменитой воинской части с собственным концертом, стихи найдутся. Не все ли равно, что читать? Главное – как. Так что сначала она почитает, а потом, глядишь, и кто-нибудь из слушателей посвятит ей стихи, как Симонов. «Жди меня, и я вернусь», – шептала она про себя врезавшиеся в память строки и улыбалась, вызывая недоумение и сокурсников, и преподавателей: чему радуется, дурочка?

«Дурочка» же продолжала радоваться всем и всему на свете. Ей нравилось отсутствие родителей с их постоянными намеками о светлом будущем в любимом колхозе, нравился состав сокурсников, точнее, сокурсниц, от которых можно было не бояться получить приглашение пройтись при луне и посмотреть на звезды. Сначала, правда, Аля засомневалась, может ли действовать театральный кружок при полном отсутствии в нем мужчин, но потом решила, что опыт, который она сможет приобрести, играя не только женские, но и мужские роли, может оказаться бесценным. Нравилась ей и жизнь в общежитии, где, несмотря на окутавший все этажи запах плесени и ветхости, все же обитали только люди, а не свиньи и коровы, нравились соседки по комнате – и не потому, что были особенно смышленными или симпатичными, а потому, что с удовольствием внимали мечтаньям Али, завороченно следили за тем, как она лихо изображает знаменитых актрис, и искренне восхищались:

– У тебя, Алька, талант!

Алькиному таланту было душно, он грозил свариться в кастрюле с и без того переваренными макаронами, или потушиться в рагу, или впрыгнуть в половник с бледным, далеким от нужного цвета и вкуса борщом, но наконец объявили дату и время первого занятия в драмкружке.

– Самое главное в актерском деле? – строго спросил хмурый преподаватель, недовольно оглядев хилую группу из семи учениц.

– Играть, – раздалось сразу несколько голосов.

Аля с ответом не спешила, изучала педагога и пыталась оценить человека, который, по ее плану, должен был помочь ей сделать первый шаг на вершину. Крупный, грубоватый, похожий больше на мужлана, чем на интеллигента, он почему-то с первого взгляда показался ей опытным и знающим. Это означало буквально следующее: первое – глупых вопросов такой человек задавать не станет («играть» – неправильный ответ) и второе – необходимо слушать, внимать каждому слову и безоговорочно следовать указаниям.

«Мужлан» между тем недовольно скривился:

– Игра – это результат большого труда, а основа этого труда в самой игре заключаться никак не может.

Недоуменные взгляды, перешептывания, даже смешки. Аля раздраженно зыркала на девчонок, которые, казалось, сговорились вывести преподавателя из себя.

«Он уедет, – разочарованно думала Аля. – Как пить дать уедет. Он к началу учебы-то не приехал: знал, наверное, что нечего ему здесь делать с такой публикой. Потом, видно, решил рискнуть, да напрасно. Разве охота образованному человеку без толку стучаться в закрытую дверь? Это он с виду такой: вроде ничем и не отличается от наших мужиков, а как заговорит, сразу слышно: порода у него благородная. Такой брехать попусту не станет, почувствует угрозу, перегрызет горло и удалится восвояси. Зачем ему возиться с нами. Кто мы такие? Шавки безмозглые, все, что умеем, – поварешками стучать. Сдался ему наш кулинарный техникум?»

Кулинарный техникум, конечно же, не был храмом Мельпомены, где всю жизнь мечтал работать стоявший перед ними мужчина, в этом Аля была права. Педагогическое или даже медицинское училище подошли бы ему больше. Но откуда было девушке знать, что оба этих «более приличных» заведения не стали бы мириться с опозданием педагога к началу занятий по причине длительного запоя? Никто бы не стал входить в положение «творческого человека» и шептаться, что многие великие любили пропустить рюмочку и пристрастие к спиртному скорее говорит в пользу таланта руководителя драмкружка, нежели об отсутствии оно. Но если бы говорили, то не ошиблись. Талант действительно был, образование тоже имелось. Но коли всем талантливым и образованным всегда сопутствовала бы удача, то не стоял бы этот человек перед студентками поварского училища, мало что смыслящими в театральном искусстве, да и в искусстве вообще. Однако они были какой-никакой аудиторией, а любого актера, пусть даже и бывшего, хлебом не корми, дай поработать на публику. Да, не МХАТ, даже не ТЮЗ,

и зрители слушают не с открытым ртом, а даже и посмеиваются, но на то он и артист, чтобы заставить зрителя поверить и пойти за собой.

Он выдержал паузу, за которую, возможно, получил бы «отлично» у самого Константина Сергеевича. Все отсмеялись, отшептались и отшутились, внимание направлено на него. Кто-то смотрит с интересом, кто-то – с тоской и скукой, то и дело поглядывая на часы, а кто-то с улыбкой ждет нового повода для веселья. Нет, с весельем покончено. С этой минуты все серьезно.

– Чтобы знать, как играть, надо знать, что играть, – медленно проговорил преподаватель, выложив каждое слово на витрину ювелирного магазина будто драгоценности, чтобы все предложение было оценено по достоинству.

Они больше не смеялись. Оценили и тон, и значимость сказанного, но не поняли. Пять пар удивленных глаз изучающе смотрели на него и ждали объяснений. Ждали покорно подношения и разжевывания, не пытаясь вступить в дискуссию и самостоятельно понять, «о чем тут толкует этот странный мужик». Впрочем, одна пара глаз была все же живее других, да и обладательница их больше походила на актрису немого кино, чем на будущую повариху: кость тонкая, профиль благородный, осанка правильная – такую сцена полюбит.

– Как вас зовут? – не удержался он. Ожидал, что она смутится, заволнуется, растеряется. Ну как же? Педагог выделил, обратил внимание, проявил интерес. Но нет. Отвечает спокойно, даже с легкой прохладцей:

– Алевтина. Аля. – И замолкает.

Ждет его объяснений, хочет понять его мысли. Она готова слушать и слышать. Она будет внимать, она станет следовать его советам, потому что она (и он это видит), она уже любит сцену и хочет играть, не просто играть, а играть бесподобно. Быть не просто одним из драгоценных камней ожерелья, а тем самым – исключительно чистым и крупным, что приковывает к себе взгляд с первой секунды своего появления и не позволяет отрывать от себя глаз.

Он и не стал отрывать взгляд. Обращался только к ней и объяснял только ей. Объяснял в свойственной ему манере, коротко и грубовато, но Аля уже не нуждалась в пространных объяснениях, ловила каждое слово на ходу и находила ему применение, потому что чувствовала: в механизме, призванном сделать из Алевтины Панкратовой великую актрису, заработали первые шестеренки.

– Читайте, Аля! – приказал мужлан. – И вы все тоже читайте. Через неделю встретимся и обсудим, кто что прочел и как понял.

– А что читать?

«Неужели это спрашивает она? Значит, он ошибся. Значит, чутье уже не то. Значит, для каждой из собравшихся здесь театр – всего лишь навязанный досуг между котлетами и компотом. Но нет. Это не она. Она тоже смотрит на задавшую вопрос сокурсницу с плохо скрытой смесью презрения и самодовольства. Ей-то не надо ничего объяснять, а на остальных, что же, придется потратить еще несколько фраз».

– Что-то несравнимо более художественное, чем «Книга о вкусной и здоровой пище».

– Каких авторов вы посоветуете?

«Это уже, несомненно, она».

– Начните с классики, но позвольте себе вылезти за рамки школьной программы. Если библиотека училища не соответствует вашему вкусу, можете воспользоваться моей домашней. В ней много любопытных экземпляров.

Теперь она вспыхнула. Но не смущенно, гневно. Глаза настороженно заблестели, взгляд стал предостерегающим. Он тут же пошел на попятную:

– Просто скажите, какие произведения вас интересуют, и я принесу.

– Благодарю, – коротко бросила Аля.

«Пусть знает, что и «колхозницы» владеют словечками высшего общества». Впрочем, гнев на милость сменила. Совет показался ей дельным. Чтобы знать, как изображать, необходимо понимать, что именно ты собираешься изображать. И если мечтаешь сыграть какого-то героя, ты должен досконально изучить и его характер, и ту гамму чувств и стремлений, которые им руководят. Зачем мечтать о цыганке, если ее уже с блеском сыграла Лолобриджиджа? К чему грезить о Марион Диксон, если она принадлежит Любви Орловой? Нет, в жизни Али появятся свои героини, а уж она постарается делать так, чтобы они стали неповторимыми. И Аля с головой окунулась в чтение.

Раньше она не то чтобы не любила читать, просто не нашлось никого, кто смог или захотел объяснить ей, что за бумажными переплетами скрывается целый мир человеческих страстей: разные жизни, интересные судьбы, художественный вымысел и живая реальность, мгновения и эпохи, емкие диалоги и пространные описания. И героини, героини, героини... Раньше ей казалось, что они существуют только в кино. Дома на полках стояли только Ленин, Симон, Фурманов и Горький. Еще, конечно, бессменные Пушкин и Лермонтов, которыми и ограничивалось ее представление о классической литературе. В школе же учителя делали ставки на науки технические и естественные. Колхозу были необходимы кадры, способные рассчитывать необходимый прирост угодья и владеющие техникой предотвращения угрозы половодья, а не витающие в облаках поклонники поэзии. Литературным образованием Али никто не занимался, и она с удовольствием восполняла пробелы.

Девушка читала сутками напролет, ходила с синяками под глазами и переваривала, пережаривала и недосаливала теперь не по неопытности, а из-за того, что между плитой и фартуком у нее постоянно лежал припрятанный томик, не заметный даже острому преподавательскому взгляду. Кино было забыто. Выходные Аля проводила в читальном зале районной библиотеки, не просто прочитывая, а проглатывая Толстого, Чехова, Тургенева, Диккенса, Драйзера, Голсуорси, не переставая удивляться той огромной череде жизней, которые может прожить за свою одну-единственную хороший актер.

Особенно полюбились Але еженедельные обсуждения прочитанного. Другие девочки уже выражали недовольство и все время выпытывали у руководителя, когда же они наконец перейдут от слов к делу, выберут пьесу и начнут репетировать. А Аля лишь посмеивалась над ними. Она словно слышала, как он ответил бы ученицам, если бы, конечно, пожелал ответить.

– Чтобы выбрать пьесу, надо знать, из чего выбирать.

Аля теперь уже знала, из чего можно выбрать, но сделать это не могла, да и не хотела. Слишком много книг еще оставалось стоять на библиотечных полках, слишком много имен еще было не узнано. И вероятность, что впереди ждет еще более интересная роль, более захватывающая интрига и более яркий материал, оставалась слишком большой, чтобы начинать предлагать что-то к постановке.

Другие ученицы студии каждую встречу трещали наперебой:

– «Ромео и Джульетта»! Что может быть прекрасней вечной любви?

– Занимательная история и поучительная, – соглашался «мужлан».

А Аля лишь фыркала про себя: «Шекспир, конечно, гениален, но вряд ли простенькую сказку с плохим концом следует считать самым выдающимся его произведением. «Гамлет» куда сильнее, да и «Макбет» гораздо значительнее. И вообще, если хотеть блеснуть, можно устроить вечер сонетов. И оригинально, и умно, и красиво».

– Может, «Вишневый сад»? Хорошая пьеса и уже стала классикой театральных постановок, – предлагала очередная сокурсница.

– Антон Палыч был бы чрезвычайно рад вашей высокой оценке, но, боюсь, пока рановато, – скромно отвечал художественный руководитель, стараясь невольной насмешкой не задеть девичьих чувств.

«Какой еще «Вишневый сад»?! – недоумевала Аля. – Кому интересно сейчас сочувствовать разрушенным дворянским гнездам и интересоваться судьбой их обладателей?»

– Что-нибудь из комедии деляте? – жаждала поделиться проснувшимся интеллектом еще одна девушка.

– Очевидно, вы имеете в виду комедию дель арте, – поправлял режиссер. – Что ж, мысль интересная... Кого именно вы предпочли бы играть: Коломбину или Арлекино?

Аля про себя хохотала: «Этой дылде больше подошел бы Пьеро. Такой же неуклюжий, унылый, вечно не знающий, куда бы пристроить руки-ноги и как бы убрать с лица постную мину».

– А вы что скажете? – наконец обращал на нее внимание «мужлан», который после первой неудачной попытки к сближению других шагов не предпринимал, но все же Алю не игнорировал, интересовался ее мнением, ибо правило студии, им самим и установленное, гласило, что высказываться на встречах непременно обязаны все.

– Отмалчиваются не на сцене, а в сортире, – грубо заявил он на первом обсуждении, когда кто-то выразил желание помолчать.

Поэтому Але отвечать приходилось. Но отвечать неизменно одно и то же ей пока никто не запретил. Ведь на сцене же можно играть одну и ту же роль. Вот и она проигрывала одну и ту же фразу с разными интонациями:

– Я еще почитаю, а потом определюсь.

И она читала. Но металась вовсе не между Наташей Ростовой, или Татьяной Лариной, или тургеневской Асей. Нет, ей больше импонировали совсем другие героини. Она приходила в восторг от умения плести интриги, которым в совершенстве владела Элен Кулагина, ее восхищали властность Кабанихи и демонизм Настасьи Филипповны. Алю не привлекала праведность, ее прельщал порок. И когда книг было прочитано достаточно, она наконец открыла себе себя. Эгоизм и жажда славы господствовали в ней над всеми остальными чувствами. Не восхищалась она нравственностью и моралью, не дорожила человеческими нормами, а жаждала следования своим. Литературное зерно, как и любое другое сильное оружие, должно упасть на благодатную почву для того, чтобы ростки превратились в добрую пшеницу. Из Али же начал прорезаться к свету и запутываться в колючие, блестящие, коричнево-красные тонкие ветви красивый и злой куст шиповника: майская роза, что прекрасно цветет, одурманивающе пахнет и больно ранит.

И когда в очередной раз «мужлан» поинтересовался, сделала ли она выбор, Аля снисходительно кивнула:

– Я приняла решение.

Сказала так царственно, будто она одна могла указывать, что именно репетировать и чем заниматься театральному кружку.

– Я не буду участвовать в этой самодеятельности, – сказала, как отрезала, и хлопнула дверью.

Закрыла без сожалений за собой и дверь кулинарного техникума. Директор училища пытался было отговорить ее, пообещал даже не отдавать документы без письменного ходатайства родителей:

– С нашей профессией нигде не пропадешь: ни в родном колхозе, ни на чужбине. Это тебе не только я, но и мать с отцом скажут. Так что, коли дурь в башку втемяшилась, сначала их уговори, а потом уж ко мне являйся.

– Понимаете, я слишком люблю жителей своего колхоза, – скромно потупила глазки Аля.

– То есть?

– Боюсь отравить их своей стряпней. Нет, я, конечно, не ангел, – заговорщицки продолжала она, – я вам больше скажу: я первостатейная стерва и парочку односельчан с удовольствием бы отправила к праотцам, но так чтобы всех скопом – это увольте. Тут ведь знаете

как: они копыта откинут, судебное расследование, туда-сюда, откуда взялась, где училась, кто диплом выдал, кто бумажку подписал. А я девушка честная, во всем, как на духу, признаюсь. И что оценки были плохие, и что предметы не учила, и науку не жаловала, и поваром работать не хотела, а меня заставил сам товарищ директор, потому что училищу нужны кадры. А что потом происходит с этими кадрами и как они кормят наших советских людей, товарища директора не интересует, потому что дальше собственного носа он не видит и живет исключительно своими интересами, а не интересами партии. Вот так. И пойдете вы если не по статье за «халатность», то по миру уж точно.

– Ах ты... – только и смог вымолвить директор, но документы отдал.

Аля забрала вещи из общежития и отправилась на поиски ценных фолиантов, хранящихся в библиотеке руководителя драмкружка.

– Я с тобой поживу, – с порога заявила она оторопевшему «гению художественной школы» и, заметив робкую, радостную улыбку, тут же остудила его пыл: – Только недолго, полгода примерно, или когда там экзамены в Москве начинаются. В общем, самодеятельности мне не надо, я в профессионалы мечу. А ты, уж будь добр, раз станешь пользоваться моей неиспорченной молодостью, помоги взлететь, обучи, чему нужно. Басня, стихотворение, проза – чтоб все в нужном виде, договорились?

– Договорились.

Договор «мужлан» сдержал. За пользование юным телом оплатил сторицей. Аля была полностью готова штурмовать столичные подмостки. Дарование соответствовало предъявляемым требованиям, вот только внешний вид девушку не устраивал. Три колхозных платяца могли, как ей казалось, отпугнуть московских педагогов, но денег на пополнение гардероба не было. Ее учитель то пропадал в техникуме, откуда приносил жалкие крохи, которых едва хватало на хлеб, то занимался с ней, то возлежал на диване, постигая глубину поэзии Тредиаковского.

– Мог бы улицы с утра подметать, – позволила себе как-то взъерепениться Аля. – Хватило бы не только на хлеб.

– Мне больше ничего не надо.

– Так это тебе не надо!

– А больше у меня никого нет, – только и ответил он. – Жены нет, детей нет, никому ничем не обязан. А если кому и обязан, – он смерил Алю насмешливым взглядом, – так обязательства свои выполняю.

– А если будут? – не успокаивалась Аля.

– Кто?

– Ну там жена, дети...

– Была у меня жена, и ребенок был.

– Ушла?

– Убили. Немцы. И ее, и сынишку годовалого, пока я бойцов на передовой анекдотами да стишками развлекал.

– А если бы ты с винтовкой в атаку, они бы живы остались?

– Нет, конечно. Но это я сейчас понимаю. А тогда актерство возненавидел просто. Туда сунулся, сюда – а ничего ведь не умею больше, только и могу, что читать да декламировать.

– А потом?

– А что потом? Из одного театра сам ушел, из другого вежливо попросили, из третьего выперли со скандалом, потому как, видишь ли, мораль у нас такая: ты пей, пей, да не напивайся.

– Так завяжи.

– Я, Аленька, когда пью, о семье своей забываю, а пить брошу, так они передо мной, как живые, стоят: жена голову на плечо склоняет, а сынишка ручонки тянет, на закорки просится.

– Это у тебя белая горячка. Заведи семью новую – и дело с концом.

– Эх, Аля, Аля! Читай не читай, а простоту души из себя не выселишь. Все у тебя как-то по-деловому, все бесчувственно.

Аля промолчала, стерпела укор. «Не хочет жениться – его дело. Хотя что хорошего в пустом упрямстве? Столько ведь вдовых баб осталось, его бы каждая вторая с удовольствием приголубила, а он уже лет двадцать по убитой жене слезы льет. Чувства ему подавай. Жизнь-то идет, не стоит на месте, ему лет сорок пять, а выглядит на все пятьдесят и ничего не хочет с этим делать. Ну, ни капельки не желает соответствовать молоденькой девушке, что ложится с ним в постель. Не станет покупать ей платьев, да и шут с ним, а о себе мог бы и позаботиться».

Однако новые наряды были, по разумению, Али атрибутом, совершенно необходимым для появления в Москве. И она знала лишь один источник получения дохода.

– Доча! – Отец крепко обнял едва шагнувшую на порог Алю. – А мы как телеграмму получили, так и ждем не дождемся. На зимние-то каникулы ты не приехала, так мы уже соскучились, немоготу прямо. Мать-то столько наготовила, погреб ломится. Я говорю: кончай кашеварить, к нам повар едет, а она все никак не уймется. Мать, иди глянь, кто приехал.

– Алевтинка! Ягодка моя! Вот и славно, вот и замечательно! Давай-ка, Андрюш, беги к председателю, пусть присылает.

– Кого присылает? – насторожилась Аля.

– Так сватов же.

– Каких сватов? Вы о чем? Я думала, мы при коммунизме живем.

Родители смутились:

– Ты права, дочка. Мы – люди советские, но в колхозе все одно должно быть все чин по чину. Захотел человек жениться – прислал сватов, получил согласие, а там уж и сельсовет не за горами.

– Ясно. А кто жениться-то захотел?

– Так сын председателя.

– А на ком? – Ответ был известен.

– На тебе. Председатель уж и в горькоме договорился: колхозу средства на постройку столовой выделяют, будешь там начальницей, наберешь себе поварих и будешь верховодить.

– Значит, я замуж выхожу?

– Ты ведь не против, Аленька?

– Что ты, мамочка? Я очень даже «за». Невесте ведь положено новое платье.

– Конечно, милая. Как заявление подадите, талоны дадут, так и помчитесь в район отоваривать. А о деньгах не беспокойся, у нас припасены, да и председатель добавит.

Аля решила не искушать судьбу и не ждать того, что добавит председатель. Денег, которые обнаружила она на следующий день в ящике с постельным бельем, должно было хватить и на пару новых платьев, и на начало столичной жизни, и, собственно, на билет, чтобы до этой жизни добраться.

Аля добралась. Когда она потом вспоминала о своем бегстве, всегда с гордостью рассказывала, как у нее хватило смелости и решимости противостоять родительской воле и ринуться навстречу мечте. Хотя о том, что ринулась она к ней, прихватив с собой чужие пять сотенных, никому не рассказывала. Зачем лишние подробности? Что сделано, то сделано, а сожаления – удел слабых. Да и не сожалела Аля ни о чем. О чем жалеть? Все туры прошла, в институт поступила, в общежитии устроилась. Значит, деньги брала не зря. Значит, поступила правильно. А разве правильные поступки можно назвать воровством?

Девушка стала студенткой театрального вуза со всеми вытекающими последствиями: репетициями, мастер-классами, спорами до хрипоты о видении образа, посиделками до утра с гитарой и бутылкой вина, походами на киностудии и пробами, пробами, пробами, на которые Аля всякий раз собиралась, как на праздник, выводя из себя соседок по комнате. Вот и сейчас:

– Ты идешь? – нетерпеливая соседка снова распахнула дверь. – Опоздаем же!

– Иду, – Аля нехотя оторвалась от зеркала. Теперь, когда она удостоверилась, что во внешности нет ни малейшего изъяна, можно было и поспешить на встречу с именитым режиссером. Все закрытые прежде двери просто обязаны были распахнуться перед ней.

– Идешь? – раздался визг из-за двери.

– Иду. – Аля вышла из комнаты.

– Иду, – Анна с подносом в руках вошла в комнату. – Что стряслось?

– Ты копаешься!

– Извини, я старалась.

– Ладно, ставь.

Анна поставила поднос с едой на колени к больной:

– Сама поешь? Покормить?

– Сама. Оставь меня.

Анна быстро метнулась к двери, но неожиданно дарованную свободу тут же снова посадили на цепь:

– Постой-ка, по-моему, он висит криво. – Больная показывала на портрет на стене.

– Вроде нормально.

– А я говорю, криво. Мне отсюда виднее. Пойди поправь. Правее. Нет, теперь левее, еще чуть-чуть. Вот так. Теперь вроде сгодится. Иди.

И Анна пошла. На пороге чуть замешкалась, обернулась, снова взглянула на портрет: тонкая кость, благородный профиль, правильная осанка – все висит ровно. Даже размашистая надпись в правом нижнем углу, которая все время казалась Анне какой-то корявой и скособоченной (буквы, словно пьяные, смотрели в разные стороны), теперь выглядела более четкой. Анна прищурилась и даже с такого расстояния смогла прочитать то, что знала наизусть: «Несравненной Алевтине от...»

Росчерк художника – тайна галочек и закорючек, но кто, как не Анна, может сложить из них простую фамилию?

4

– Фамилия? – Врач строго смотрела на Михаила из-под очков.

– Моя?

– Зачем мне ваша? Больного.

Михаил нервно сглотнул:

– Я как-то... Я, в общем... Я, короче, не спрашивал.

– Живете здесь, – женщина сверилась с записями, – третий месяц и не знаете фамилии того, с кем делите крышу над головой?

– Он, – едва не сорвалось с языка «в этой глуши», – здесь почти сорок лет прожил, вам никто его фамилию не скажет.

– Как это?

– А так: отец Федор и отец Федор. При чем здесь фамилия?!

– Фамилия, Мишка, это я тебе скажу, не ерунда какая-то. Ее носить уметь надо.

Отец не кричал, но говорил раздраженно. Мишка всегда пугался именно таких моментов. Отец мог вспыхнуть от малейшей провинности: гаркнуть, отвесить подзатыльник, мазнуть обидным словечком, но тут же остывал, как засунутая под холодную воду раскаленная сковородка, и начинал покаянно пыхтеть. Мог он и долго и нудно читать нотации, повторяя миллион раз одно и то же и доводя Мишку до белого каления постоянным заглядыванием в глаза и вопросом: «Ну, ты меня понял?» Эти минуты ввергали мальчишку в уныние и тоску: они были неприятны, но страха не приносили. Отец орал, когда был уставшим (а уставшим он бывал частенько: академиками бездельники не становятся) или когда ругался с бабушкой, что тоже случалось нередко.

Мама в такие минуты превращалась в мотылька, который если и летал по квартире, то делал это очень тихо и аккуратно: так, чтобы ни в коем случае не задеть никого своими не приметными крылышками. Мишка же в силу возраста и безалаберности грозы не чувствовал, поэтому не спешил укрыться в безопасности своей комнаты при первых раскатах грома: вертелся под ногами, сыпал вопросами и, как результат, неизменно попадал под удар. Молния сверкала на семейном небосклоне, приходила из ниоткуда и исчезала в никуда. Вслед за грозой выходило солнце: отец снова улыбался, называл Мишку «проказником» и обещал «надрать уши», а Мишка заливисто хохотал и шепелявил:

– Академики уши не надилают!

Лекциями же о правилах хорошего тона, которые соответствовали статусу отца все же больше, чем громы и молнии, но случались гораздо реже, мучили Мишку исключительно по настоянию матери. Испробовав тысячу и один ласковый способ воздействия на сына, она вынуждена была апеллировать к мужу. Впрочем, как помочь и что именно говорить, отец (даром что академик) не имел ни малейшего понятия. Он привык объяснять и доказывать взрослым, а сын был для него субстанцией чуждой и неизученной, потому нотации выходили скучными и бестолковыми.

Мишке тяжело было разобраться в терминах и выражениях, которыми сыпал отец, он боролся с зевотой, разглядывал обои и думал лишь о том, чтобы не упустить момент, когда нужно будет утвердительно кивнуть на вопрос: «Ну, ты меня понял?». Мишка знал, что вести себя надо прилично, но никак не мог взять в толк, какое отношение к нормам поведения имеет квантовая механика или теория какой-то там относительности, изобретенная каким-то там Эйнштейном. Да и сам отец, рассуждавший монотонным голосом о непонятных вещах, казался невероятно скучным. А разве можно бояться скучного человека?

Мишка и не боялся. Ни скучного и тихого, ни громогласного и буйного. А вот строгого, раздраженного все же опасался. И не потому что расстроенный и уязвленный отец прибегал к каким-то особым мерам воздействия, а исключительно от того, что его грусть и разочарование передавались мальчику, и становилось так мучительно стыдно, что хотелось как можно скорее исправить ошибки и вернуть на лицо отца безмятежное выражение: такое, с которым он рассуждал о молекулярных частицах или светодиодных потоках. А поскольку в своих желаниях Мишка был вполне последователен, то в меру своих сил он старался их претворять в жизнь: слушал папу внимательно, обдумывал сказанное, делал выводы и искренне обещал исправиться.

Вот и теперь ему больше всего на свете хотелось выбежать во двор и навешать тумачков приятелям, которые уже минут десять без устали орали под окном: «Труба, выходи!»

Услышав окрик в первый раз, Мишка залихватски крикнул в форточку: «Иду!» – и метнулся было к двери, но был безжалостно остановлен вопросом, заданным холодным тоном:

– Что значит «труба»? – Отец выглянул в коридор из кабинета: брови нахмурены, глаза смотрят строго поверх очков.

– Так это от фамилии, па! – Мишка решил, что разговор окончен, и даже дернул ручку двери.

– Что значит «от фамилии»?

– Ну, там Михей – Михеев, Клочок – Клочков, Сухарь – Сухоткин, а Трубецкой, выходит, Труба.

– Это у кого выходит?

Пришлось закрыть дверь и обернуться, только вот в глаза посмотреть не получалось. Мишка уставился на носок своего левого ботинка и предпринял новую, такую же неудачную попытку защититься:

– Так у всех.

– Да? А у меня, например, не выходит. У меня Трубецкой – это Трубецкой.

– Ну... я... это... Всех ведь по фамилиям как-то, ну и меня тоже. Пап, да мне не обидно.

– Не обидно тебе? – Отец сощурился и покачал головой, глядя на Мишку так укоризненно, что у того в момент зачесались веки. – А мне, представь себе, очень обидно от того, что мой сын до семи лет дожил, а фамилию носить так и не научился.

– Носить? – Мишка недоуменно оглядел себя: носят футболку, шорты, кеды. Еще сумку носить можно или носовой платок в кармане. Даже, пожалуй, стрижку можно, но фамилию?

– Фамилия, Мишка, это, я тебе скажу, не ерунда какая-то. Ее носить уметь надо. Из таких вот «Клочков» да «Михеев» клочки с михеями и вырастают, а коли хочешь вырасти Трубецким, будь добр впредь на Трубу не откликаться.

Мишка пообещал. И не откликался. И дворовых постепенно (кого тумачками, а кого и слезными просьбами) приучил называть себя просто по имени, но все же не давала ему с тех пор покоя одна мысль: «Так ли уж важно, какая у тебя фамилия? Сонька Хорошева – девчонка симпатичная, но противная. Степка Беленький – чернявый, да и глаза у него темно-карие, а Васька Лень – и вовсе лучший ученик в классе».

Как-то не выдержал, спросил:

– Пап, а разве важно, какая у тебя фамилия?

Ответ был однозначен:

– Без сомнения. Без нее ты никто, понимаешь? Нуль без палочки. А с ней человек, да не какой-то там Клочков, а Трубецкой. Так что давай-ка, брат, чти и не позорь, лады?

– Лады.

– Без фамилии тебя знать не знают и ведать не ведают. Усек?

– Усек.

Мишка усек. И с тех пор старался, чтобы фамилия всегда шагала впереди него. Она и шагала. И пришла в тупик. И уперлась в глухую стену. И теперь может помочь своему владельцу одним лишь: как можно дольше оставаться неузнанным. Незачем местным знать, кто он такой.

– Ладно, – смиловилась врач «Скорой помощи», – вы, если его фамилию не знаете, свою скажите. Мы пока на вас оформим, а вы, как выясните, сообщите. Должен же здесь кто-то знать. Вы старожилов поспрашивайте. Или документы поищите.

– Хорошо.

– Так как? – Врач прицелилась ручкой в бумагу и приготовилась писать.

– Что «как»?

– Фамилия у вас какая?

– Моя? – Михаилу показалось, что биение его сердца заполнило глухим частым стуком всю маленькую келью. «Сейчас она попросит документ, и все кончено».

– Корнеев его фамилия, – вдруг раздалось с постели, – а моя, доктор, Исаев. Мою пишите, я же не помер еще.

– Смотрите, доктор, очнулся! – Михаил кинулся к кровати. – Видите, ему лучше! Может, не надо забирать, а? Отец Федор, скажите, вы ведь здесь мечтали, в своей кровати. Зачем же в больницу? Какой в ней прок?

– Мне, сынок, никакого, – Старик хитро улыбнулся и сказал ясно и звонко, будто и не лежал больше часа в забытии: – Едем, доктор!

Уехали. Оставили за собой столб пыли на проселочной дороге, запах болезни в келье и смятение в душе Михаила.

«Прав, старик, снова прав. Он взял меня под опеку и теперь считает себя обязанным жить как можно дольше. Пока он жив, меня не тронут. Старик решил, что в больнице проживет дольше, хотя хотел уйти в своей постели. Наступил на горло собственной песне в угоду моим интересам. Еще и фамилию мне придумал. И чем же мне расплатиться?»

Михаил растерянно оглядел вмиг опустевшее помещение, услышал, как внизу, в ризнице, скрипнула дверь, увидел небрежно повешенную на крючок рясу, вздохнул, горько усмехнувшись: «Вот она – расплата», облачился в церковные одежды и спустился к посетителю:

– Слушаю, сын мой.

– Батюшка, Христа ради, дайте совет...

«Христос ради меня лично ничего не сделал, сколько бы церковь ни утверждала обратное, а вот ради отца Федора я тебя послушаю. Я вас всех послушаю. И советы дам, и грехи отпущу, и на путь истинный наставлю. Вы обретете счастье и покой. А я? Я буду ждать того, кто отпустит мои грехи и отыщет для меня в лабиринте дорог ту единственную, по которой не страшно пойти».

5

Дорога до магазина в любую погоду казалась короткой и ровной. На самом деле она была усеяна ямами, рытвинами и ухабами, туда-обратно – три километра. Но дорога была ровной – Анна шла, углубившись в свои мысли, и не замечала дефектов, – и короткой, так как женщина никогда не успевала всего передумать. А еще дорога была хорошей, изумительной, просто прекрасной, потому что, идя по ней, Анна отдыхала.

Шаг за калитку – и старый дуб у соседского забора начинал выскрипывать ветвями мелодию свободы. Первая сотня метров – поворот и напряженное рычание собаки: за железной изгородью живут две сиамские кошки. В жаркие дни они лежат на заборе, подставив спины солнцу и свесив хвосты вниз. Кончиками хвостов они лениво поддразнивают собаку: «Все равно не поймаешь!» В холод и дождь кошек не видно и не слышно, но собачий инстинкт не дремлет: псина недовольно фыркает и успокаивается только через два дома у красного забора, где стоит лавочка. На лавочке сидит старушка и каждый раз произносит, завидев собаку:

– Ах ты, моя бедненькая!

Собаке такое обращение нравится, она ластится к бабушке, тычется мордой в морщинистые руки, просит новых теплых слов и комплиментов. Для нее любой звук, изданный нежным тоном, – комплимент. Анна собаку не зовет, не торопит, терпеливо ждет, когда старушка вдоволь потреплет жесткую шерсть и снова скажет умильно:

– Ах ты, моя бедненькая!

И тогда Анна окликнет собаку, и они пойдут рядом, и каждая примет бабушкины слова на свой счет.

Через триста метров – колонка с водой. Бывает, Анна останавливается и обливает водой собаку, если та слишком громко дышит или слишком сильно высовывает язык. Иногда женщина складывает ладони в лукошко и пытается донести до собачьей морды немного воды, вода проливается, собака недовольно фыркает и отбегает от колонки. Садится на пыльную дорогу, наклоняет морду, настороженно водит ушами и отворачивается: «Сама пей». Анна такую воду не пьет: в ней микробы, да и колонку трогают все, кому не лень, а у Анны дед от дизентерии умер.

Путь продолжается. Дома и заборы внезапно исчезают, и Анна с собакой входят в березовую рощу. Собака сразу убегает, начинает мельтешить среди ветвей едва уловимой тенью: разнообразие запахов и звуков заставляет ее беспорядочно кидаться из стороны в сторону, пытаясь унюхать что-то самое яркое – то единственное, по следу которого необходимо нестись, не видя и не слыша ничего вокруг. Женщина, в отличие от зверя, всегда идет прямо по тропинке, не отвлекаясь на шорохи и пейзажи. Ничто не может отвлечь ее от дум: ни земляничная поляна, ни куст ежевики на расстоянии протянутой руки, ни мелькнувшая в листве белка, ни выстукивающий мелодию дятел...

Анна торопится. Там, за рощей, после нескольких домов с симпатичными палисадниками ждет новый поворот, а за ним наконец и магазин. Женщина скрывается за дверью, а собака усаживается на землю у входа терпеливо ждать хозяйку с какой-нибудь вкусной подачкой. Собака уверена: Анна стремится быстрее попасть в магазин именно для того, чтобы накормить свою псину куском вареной колбасы или отщипнуть от батона хрустящую теплую горбушку. Собака ошибается. Хозяйка просто спешит скорее покончить с обязательным меню из трех блюд (старушка, роща, прилавок) и перейти к десерту. Десерт, кстати, бывает далеко не всегда.

Довольно часто женщина возвращается домой тем же маршрутом, нигде не останавливаясь и ни на что не отвлекаясь. Но бывает, выйдя из магазина и подождав, когда собака покончит с трапезой, она направляется в другую сторону. Собака семенит сзади и не понимает, радо-

ваться такому повороту событий или огорчаться. С одной стороны, они будут дольше гулять. К тому же на параллельных улицах, по которым они теперь пойдут, можно встретить сенбернара Джека и обменяться с ним новостями. Но с другой стороны, большую часть дополнительного времени собаке придется просидеть у бестолковой, совершенно несъедобной свалки, наблюдая за тем, как Анна ковыряется среди деревяшек и железяк. Впрочем, собака готова поскучать немного, потому что иногда женщина выбирается из горы рухляди с блаженной улыбкой на лице и каким-то непонятным предметом в руках.

– Смотри, какую вещь выкинули, – довольно говорит она собаке. Та послушно тычется мокрым носом в скучный кусок старого дерева и виляет хвостом, делая вид, что одобряет находку. Радости собака не испытывает. Теперь хозяйка понесется к дому, вместо того чтобы, как обычно, идти прогулочным шагом, то и дело останавливаясь и разглядывая уже знакомые и изученные вдоль и поперек домики и дворы. И у калитки тоже стоять не будет, пытаясь оттянуть момент возвращения, а распахнет ее и почти бегом бросится к крыльцу, прижимая находку к груди, словно драгоценность. И даже на вопрос «Ты вернулась? Ну-ка, иди сюда!» ответит не сразу, а только после того, как уберет странный, почти бесформенный кусок дерева в шкаф на террасе.

Таких кусков в шкафу хранилось уже штук пять, и собака недоумевает, зачем заполнять пространство, которое можно приспособить под хранение чего-то гораздо более полезного (мешков с кормом, игрушек или даже одеял, на которых так приятно валяться холодными вечерами), абсолютно бесполезными вещами.

– Дрова собирает, – шепнул ей как-то на ухо дом. – Зимой печку топить будет.

Собака только недоверчиво дернула мордой. Дом был неглупым, но широко мыслить не мог: слишком мало сторон жизни видел он на своем пристанище за забором. Откуда ему знать, что по ту сторону изгороди все сосны обклеены объявлениями и по одному из них Анна звонила уже несколько недель назад? Потом даже сказала собаке, потрепав ее по холке:

– В ноябре привезут. Сложим поленницу у сарая под навесом, получится компактно. Думаю, на зиму нам хватит.

Собака могла бы рассказать об этом дому, но не стала. Она догадывалась, что, как только эти два этажа любопытства поймут, что ошибались в своих предположениях, то сразу же начнут строить новые и докучать собаке просьбами разнюхать, разведать и доложить. Собака же любила покой и ради его сохранения не собиралась раскрывать тайну сбора деревянного хлама. Хочется хозяйке таскать щепки – пусть таскает.

И Анна таскала. Таскала до тех пор, пока однажды не вытащила из груды мусора почти правильный прямоугольник массива размером шестьдесят на сорок сантиметров.

– Есть! – восторженно сообщила она собаке и, как обычно, поспешила к дому. Прислонила кусок дерева к стене сарая и снова выскочила за калитку:

– Пойдем! Пойдем! – нетерпеливо окликнула она собаку.

Они почти бежали до незнакомого здания с названием «Почта», и Анна пропала там на целых полчаса; собака только ловила через открытое окно отдельные слова:

– Заказным... А что долго ждать? А в дороге не растекутся? Как не несете ответственности?

Анна вышла, держа под мышкой какой-то бумажный сверток. Дома развернула его и повесила на стену. В верхней части была какая-то картинка с деревьями и птицами, а в нижней – палочки и крючочки, которые женщина перечеркивала каждое утро красной ручкой.

– Это календарь, – объяснил дом собаке. – У моих позапрошлых хозяев такой был. Они там тоже все черкали да черкали, пока до дня, обведенного в кружочек, не дошли.

– А потом?

– Пришла машина, грузовик здоровый, они погрузились и уехали.

– Думаешь, мы уезжаем?

– Все когда-нибудь уезжают.

Собака промолчала. Полный стеллаж деревяшек, заботливо убранный в сарай прямо-угольник, который Анна перед этим долго рассматривала, оглаживала тряпками и объясняла собаке: «Настоящий дуб, понимаешь?», никак не вязались с мыслями о грядущем отъезде.

Отъезда и не случилось. В обведенный красным кружочком день женщина с собакой снова оказались у вывески «Почта» – Анна внутри, собака у окна, шевелит ушами, ловит каждое слово. Счастливый голос Анны вылетает на улицу серебристым колокольчиком:

– Пила, стамески, шпатлевки, набор молотков, зажимные скобы, стальная вата для полировки, жидкие гвозди. А это что? А... в подарок набор тряпок. Ладно, и на том спасибо, хотя тряпок у меня полон дом. Так, с инструментами все, теперь материалы. Дайте мне накладную. Лаки ретуширующий и светостойкий, морилка, пчелиный воск, растворитель, витражная пленка, мебельные фломастеры, набор красок, очиститель, освежитель цвета, клеи. А где клеи, девушка? Я не вижу. Тут нет. Должна быть еще коробка.

– Сейчас посмотрю.

Колокольчик стихает. Теперь собака только слышит нервный дробный стук. Это Анна, нервничая, барабанит костяшками пальцев по прилавку.

– Вот, нашла. – Что-то тяжелое выпускают из рук.

– Я открою? – Колокольчик слегка дрожит.

– Конечно. – Звук рвущегося картона. – Это все клеи? А зачем столько?

Девушке на почте скучно. Почему бы не разнообразить праздное безделье получением знаний?

– Тут обычный ПВА, еще резорциновый и смола.

– Смола?

– Да, желтый клей, или алифатическая смола. Он сильнее и влагоустойчивее, к тому же более вязок и менее текуч. В общем, хорошая штука.

– А это?

– Это анимальный клей.

– Какой?

– Анимальный. Из животных сделан.

– Как из животных?

– Из кожи, нервных тканей или костей, – спокойно объясняет колокольчик. Собака нервно сглатывает слюну, а девушка за прилавком ужасается:

– Какая жестокость!

– Какая жестокость! – сокрушался старшекурсник, слушая сбивчивый рассказ семнадцатилетней Ани о несправедливости членов приемной комиссии. – Так и сказали?

– Да, – девушка размазывала по щекам слезы и поплывшую тушь. – Природа на вас отдохнула. Поищите себя на другом поприще.

– Ну... Может, это дельный совет?

– Что?! – Анна вскочила и рванулась в сторону. «Да уж, хороша! Развела нюни перед чужаком. А он-то просто смеется. Она думала, он пожалеть хочет, а он... Они, старшекурсники, небось все такие, приходят в дни экзамена поглумиться над несчастными абитуриентами да похвастаться своей удачей».

– Да погоди ты! Я, между прочим, тут тоже три года пороги обивал, прежде чем пропустили, и тоже всякого наслушался, но я верил, что они не правы, и у тебя, раз ты в это веришь, тоже все получится.

– Я не знаю, верю или нет. Они все-таки мастера, а я кто? Девчонка.

– А режиссеру ты поверишь?

– А ты что, режиссер?

– Ну, почти.

– А что ты снял?

– Потому-то и почти, что не снял еще ничего. Ничего стоящего. Так парочку курсовых.

– Типа «Убийца»?¹ – Аня улыбнулась сквозь слезы.

Во взгляде молодого человека мелькнуло уважение:

– Сечешь в кино?

– Люблю Хемингуэя.

– Ну, до старика Эрнеста мне далеко. Разве что иногда тоже застрелиться хочется, а так ничего общего.

Девушка засмеялась.

– Значит, ты будущий режиссер?

– Ага. Почему бы будущему режиссеру не прослушать будущую актрису?

– Будущему режиссеру полезно прослушивать актрис настоящих, а будущим актрисам надо учиться у настоящих режиссеров, так что я, пожалуй, пойду. – Аня сделала несколько шагов в сторону, обернулась: – Значит, три года, говоришь, стучался в закрытые двери?

– Было дело.

– Значит, у меня еще полно времени. Ну пока.

– Пока. Подожди, а звать-то тебя как? Мне же надо знать, кого приглашать сниматься в своих шедеврах.

– Аня. Анна Кедрова.

– Кедрова... Кедрова... Кого-то ты мне напоминаешь, Кедрова, а кого, понять не могу.

Девушка лишь пожала плечами:

– Откуда мне знать?

Она лукавила. Кому, как не ей, знать. «Перелетные птицы», «Рассвет у порога», «Письма издалека» и еще несколько десятков названий известных картин, в которых он мог лицезреть улучшенную копию ее лица.

– Прикольная ты, Кедрова. И Хемингуэя знаешь. Мне почему-то тебе помочь хочется.

Девушка скривилась:

– Спасибо. Не нуждаюсь.

– Спрячь ты гордость. Я по-дружески. Метры и койку предлагать не собираюсь, а на руку и сердце не рассчитывай.

– Откровенно. Чего ж так?

– Ну, метры тебе не нужны. Я по речи слышу, что москвичка. Да и сердце тебе мое ни к чему. Во всяком случае, пока я только почти режиссер.

– Дурак ты, а не почти режиссер, – только и ответила Анна и снова предприняла попытку уйти.

Теперь он уже схватил ее за руку. Она вывернулась, зыркнула гневно.

– Эй! Ну, прости. Знаешь, тебе, по-моему, вообще здесь делать нечего. Чистым и непорочным сюда редко удастся пробраться.

– Отвали!

– Ты чего ругаешься? Я же комплименты делаю.

– Да засунь ты их...

– Тебе это не идет. На вот, возьми.

– Это еще что?

– Телефон мой. Захочешь поболтать, позвони. Я все-таки могу дать несколько ценных советов.

¹ Курсовая работа 1956 г. студентов ВГИКа, снятая Александром Гордоном и Андреем Тарковским по одноименному рассказу Эрнеста Хемингуэя.

– Спасибо, наслушалась: либо переспать с известным режиссером, либо держаться подальше от театральных вузов.

– Ты все-таки позвони.

– Смотри не застрелись до этого.

Анна все-таки сунула карточку в карман плаща и поспешила к метро.

Забавный тип. Самонадеянный, конечно, но зато сумел ее приободрить. Во всяком случае, отвлек от грустных мыслей, это точно. Что она делала? Сидела на скамейке, рыдала и все еще читала Чехова. И никак не могла понять, почему этот отрывок из «Цветов запоздалых» председатель комиссии назвал не до конца прочувствованным. Аня столько раз репетировала дома: ложилась на кушетку, расстегивала несколько пуговиц на платье и томно шептала: «Я люблю вас, доктор!» – а дама из комиссии, имени которой она даже не знала (тоже мне, актриса погорелого театра!), назвала это «нелепым жеманством». Правда, известный артист, что сидел рядом с ней, заявил, что «басня была вполне недурственной», но дама тут же парировала, что недурственной она может быть на семейной кухне, а не на сцене, где любое произведение должно становиться посредством великолепной актерской игры вершиной литературного творчества. Девушка как раз придумывала сто пятидесятый достойный ответ на эти обидные слова, когда перед ней возник забавный юноша. Она и не думала плакаться в жилетку, но слово за слово, и она уже думала больше о нем, чем о проваленном экзамене. Интересно, у него случайно так вышло или сработал навык хорошей режиссуры: только что она кляла на чем свет стоит членов комиссии, а теперь переключила свой гнев на него, а жгущая ладонь бумажка с телефоном занимала все ее мысли.

Звонить, не звонить? Анна ходила по квартире кругами. То хватала карточку и засовывала ее в лежавшую у телефона визитницу, то перекладывала на свой письменный стол, то возвращала в карман плаща («Скоро осень, потом зима, плащ переключает в дальний платяной шкаф, а с ним и бумажка до лучших времен»), то снова выкладывала на видное место. Наконец, разозлилась на себя («Да что это со мной, в самом деле?! Слишком много чести!») и решительно отправила бумажку в мусорное ведро.

И в ту же секунду – звук ключа в замочной скважине, скрип открывающейся двери, аромат сладких, кружащих голову духов, звонкий надменный голос:

– Ты дома? Ну-ка, иди сюда.

– Да, я здесь. Привет. – Аня вышла в коридор.

– Снимешь? – С пуфика девушке поочередно протянули ноги, обутые в элегантные сапожки. – Уф, я так запарилась!

– Лето на дворе, – Анна отставила чудо из светлой замши в сторону.

– А когда их носить, как не летом? Ты не представляешь, как я устала. – Женщина легко вскочила с пуфика и встала перед зеркалом, театрально приложила левую ладонь к виску. – Голова идет кругом. На студии все просто с ума посходили. Хотят меня видеть сразу в трех картинах, да еще и Андрон с этим своим воскресным приемом. Нет, я, конечно, счастлива, что он стал академиком, но, скажу тебе по секрету, он мог бы им стать и без меня. Я к этому отношения не имею и сидеть в компании этих скучнейших ученых совершенно не хочу. Но придется, моя дорогая, придется. Такая уж судьба у жены академика. – Женщина небрежно погладила Аню по голове: – Ну-ка, ты что пригорюнилась? Тебе-то на этом мероприятии присутствовать необязательно. Я, кстати, видела отца, он будет ставить одну из трех картин. Он о тебе спрашивал. Так что в воскресенье как раз можешь отправиться к нему. Ну, там кино, кафе... Какая там у вас обязательная программа?

Об обязательной программе Аня, в отличие от собеседницы, имела прекрасное представление. «Кино с Людочкой. Кафе с Танечкой. Ты, Анютка, пока посиди у меня, если хочешь. Малыш, ты еще ждешь? Представляешь, мы тут в кафе встретили N-ского, он всех тащит в Дом кино, ему недавно отвалили премию и требуется обмыть. Так что не злись на папу, засунь

ключ под коврик. Что? Остаться ночевать, а завтра проведем день вдвоем, как хотели? Малыш, ну ты же уже не совсем малыш. Должна понимать: я приду не один... И потом, завтра – уже не сегодня, правда? Так что давай-ка дуй домой и созвонимся, ладно?» Очередного звонка приходилось ждать целую вечность.

– А на прием ведь еще одеться надо, и прическа... Представляешь, я сейчас заглянула в «Чародейку», так Татьяна в отпуске. Сорвалась, чертовка, даже не предупредив. И что мне теперь делать?

– Ты прекрасно выглядишь.

– «Прекрасно» – это не роскошно. А у академика должна быть роскошная жена. А где, кстати, он сам? – Женщина оторвалась от зеркала.

– Не знаю. Наверное, на работе. Я сама только что пришла.

– Понятно. Вы, значит, все где-то гуляете. И это как раз в тот день, когда у Маши выходной. Значит, я должна после тяжелого дня вставать к плите, браться за пылесос, утюжить рубашки...

– Обед Маша приготовила вчера, квартиру убрала, рубашки Андрону погладила, так что выйди из образа угнетенной трудом Золушки.

– Как ты разговариваешь?!

– Просто надоела театральщина.

– Театр, моя милая, надоесть не может. Ладно, пойду перекушу что-нибудь. Никто ведь не предложит погреть и подать.

– Ты ничего не хочешь у меня спросить?

– А надо?

– Ну, как все прошло.

– А что проходило-то?

– Я вообще-то поступить сегодня пыталась. Я ведь тебе говорила!

– Да? Ну, значит, я забыла. Прости. Ну и как? Поступила?

– Нет.

– Видишь, поэтому я и запомнила. Я же говорила: все это пустое. Дурь и блажь. Какая из тебя актриса? Все, я сейчас умру с голоду.

Женщина скрылась в ванной, зашумела вода. Аня юркнула на кухню, из последних сил пытаясь сдержать слезы, кинулась к помойному ведру, вытащила бумажку, метнулась в свою комнату. Щелканье пальца по клавишам:

– Привет, это Анна. Ну, сегодня в сквере...

– А-а-а... Видишь, я еще жив.

– Скорее слышу. Ты помочь обещал.

– Я готов.

– И-и-и?

– Хватай как можно больше литературы и дуй ко мне. Высотку на Котельнической знаешь? Второй подъезд, я встречу.

– У тебя что, в твоих хорах книг нет? – Девушка растерялась. Ответ прозвучал неожиданно резко:

– Сейчас нет. – И уже мягче: – Так придешь?

– Приду. А что приносить?

– Приноси свое любимое, там разберемся.

Вместо плаща – ветровка, вместо лодочек на каблуках – стоптанные кроссовки, волосы, утром распущенные по плечам, собраны в тугий хвост и скрыты под кепкой. Ничего от чеховской Маруси.

– Ты просто Гаврош, – Андрон, столкнувшийся с девушкой в дверях, удивленно приподнял брови. – Куда, на баррикады? – Он вопросительно взглянул на тяжелые коробки в ее руках.

- Практически.
- И что будешь защищать?
- Честь и достоинство.
- Ага. Ну, это дело хорошее. Тебе помочь?
- Но Аня уже за порогом. Только крикнула в ответ:
- Сама справлюсь!

– Сама справлюсь, спасибо, – вежливо откликнулась Анна на предложение девушки подождать почтальона.

– Зря. Тяжесть-то какая! Он бы на багажник велосипеда поставил и довез бы вам. А хотите, оставляйте, он попозже привезет.

– Нет-нет! – испугалась Анна. Как можно оставить такую ценность? Она подхватила коробки и вышла на улицу, окликнула собаку: – Пойдем!

– Подождите, – девушка выскочила за ней и смущенно проговорила: – Я забыла спросить: а зачем вам все это?

– Зачем? – Анна поставила коробки на землю, разогнулась и ответила. Нет, не девушке. А кому-то далекому, только ей одной ведомому. – Защищать буду.

– Что? Что защищать?

Но Анна уже снова с коробками. Повернулась спиной и пошла восвояси. И девушка уже не слышала, как чуть шевелятся в такт тяжелым шагам губы странной посетительницы:

– Честь и достоинство. Честь и достоинство. Честь и достоинство.

6

Достоинства свои Аля подчеркивала не зря. Упорство и старание рано или поздно должны быть вознаграждены, кому-то везет уже в этой жизни, кому-то, возможно, в следующей. Алю же удача накрыла своим крылом не просто быстро, а буквально сразу же. Ей не пришлось годами обивать пороги студийных кабинетов и с надеждой во взгляде протягивать ассистентам по актерам свои самые удачные фотографии. Буквально с третьих проб она вернулась с предложением пусть небольшой, но заметной роли второго плана и письмом к руководителю курса с просьбой закрыть глаза на пропуски занятий студентки первого курса Панкратовой. Записку хоть и со скрипом, но приняли к сведению – и Аля отправилась в свою первую в жизни киноэкспедицию.

Условия съемок были, конечно, далеки от тех, что нарисовала себе в воображении девушка, мечтавшая о жизни, как у экранных див: номер в провинциальной гостинице приходилось делить не только с коллегой, пока такой же далекой от звездного статуса, но и с клопами. Вставать заставляли рано, потому что доверенная Але роль требовала сложного грима, а ложиться, напротив, рано не удавалось, так как отогревавшаяся алкоголем на осенней площадке съемочная группа устремлялась в гостиницу не за отдыхом, а за продолжением банкета.

Аля от коллектива не отставала, однако и с массой не сливалась. От предложенной рюмки не отказывалась, но до беспамятства никогда не напивалась, над скабрёзными шутками посмеивалась, но поводов шутить над собой не давала. Сплетни выслушивала с интересом, не одергивая болтунов, но и в унисон с ними не пела. Ухаживания мужской половины экспедиции принимала, казалось бы, благосклонно, но никого не выделяя и не давая поводов для ревности и выяснения отношений. За ней закрепилась репутация умницы и красавицы с легким характером. Никто и предположить не мог, что характер этот был тщательно продуман и отрепетирован для того, чтобы как можно быстрее избавиться от соседства не только с клопами, но и с второсортными актрисульками, от недвусмысленных предложений именитых и не слишком киноперсонажей и от подъемов в удобное режиссеру, а не ей – Алевтине – время.

Месяцы жизни с образованным человеком и его призыв к чтению не прошли для девушки даром. Книги учат людей мыслить, и Алино увлечение литературой помогло ей перевоплотиться в обличье, нужное людям. В кресле гримера сидела покорная Гризельда Боккаччо, в гостинице кутила с приятелями крыловская Стрекоза, объяснения в любви выслушивала то еще невинная сестра Керри Драйзера, то бесстрастный Онегин, то Медной горы хозяйка.

Такая политика непрерывной игры принесла плоды. Из экспедиции Аля вернулась с двумя новыми записками для руководителя курса (партнеры не желали видеть рядом с собой на съемочной площадке никого другого и успели протолкнуть ее в очередные киногруппы), с благодарственным письмом в деканат от режиссера (который был доволен не столько ее актерской работой, сколько разыгранной перед ним невинностью, что удержала его от очередного адюльтера), с двумя предложениями руки и сердца и с воспалением придатков, которое, по утверждению врачей, при отсутствии серьезного лечения грозило оставить ее без потомства.

Аля считала врачебный прогноз скорее благоприятным, чем пугающим. Ей – молоденькой, амбициозной девушке с запятнанной душой – дети казались хлопотной обузой на пути к успеху. Поэтому времени на анализы и процедуры она попросту не тратила, лечилась спустя рукава и, услышав вердикт «Беременность крайне маловероятна», испытала гораздо больше облегчения, чем расстройства. К тому же огорчение было вызвано лишь тем, что обоим кандидатам в мужа пришлось отказать, хотя один из них оказался неожиданно перспективным (молодой, но уже известный оператор вполне мог оказать необходимое содействие начинающей актрисе). Однако оба претендента мечтали не только об Алиной благосклонности, но и о

настоящей семье, где о них бы заботились и рожали детей. Это не входило в Алины планы: ей самой нужна была опека, она, и только она, должна была стать ребенком в своей семье.

Поняв, чего она хочет, девушка, однако, не бросилась сломя голову воплощать желания в жизнь. Аля просто решила не размениваться по пустякам, а терпеливо ждать своего счастья. Счастьем же ей представлялся человек немолодой, предпочтительно уже с детьми и, конечно, влиятельный в артистических кругах: режиссер, драматург, писатель, а еще лучше министр (Фурцева?). Одна беда: министры по киноэкспедициям не ездили, писатели и драматурги хотели принимать восхищение, а не дарить его, а известные режиссеры, естественно, оказывались женаты. И хотя многие из них были не прочь предложить (да и предлагали) Але посильную помощь в обмен на ее благосклонность, она никогда не торопилась соглашаться, а бывало, и грубо отказывала, если не видела в предложенной сделке выгоды.

К концу обучения в Алином послужном списке имелись четыре удачные картины, несколько предложений от ведущих московских театров и столько же намеков от художественных руководителей этих театров.

– Любишь кататься, люби и саночки возить, – заявил один из них. – Все покупается, все продается.

– У всех цена разная, – бесстыже усмехнулась она в ответ. – Я стою дорого.

И упорхнула в Ленинград сниматься в какой-то грандиозной военной киноэпопее, которой все критики заранее прочили оглушительный успех. «При таком прогнозе я могу надеяться, что в скором будущем смогу попасть в любой стоящий театр с парадного входа, а не с дивана в кабинете худрука, – думала молодая актриса, засыпая под стук колес скорого поезда. – В конце концов, несколько месяцев можно провести и без столицы. Ленинград ничем не хуже всех тех городков, в которых мне приходилось околачиваться неделями в ожидании натуры. Нет, ничем не хуже».

Ленинград оказался гораздо лучше любых ее представлений. Уже на следующий день после приезда она твердо знала, что чеховское «В Москву! В Москву!» – это блажь тех, кто никогда не был в этом сказочном царстве дворцов и каналов, и что она никогда и ни за что не хотела бы отсюда уехать.

Впервые в жизни Аля влюбилась. Влюбилась так, что все остальное сразу перестало иметь значение. Она готова была сниматься в любом фильме, если он ставился на «Ленфильме», готова была умолять режиссеров и сулить им что угодно за право быть принятой в труппу не только БДТ и Александринки, но и какого-нибудь малоизвестного ленинградского театра. Аля была очарована рябью воды, что, казалось, сутками напролет отражала настроение города: то тихое, умиротворенное, то бурное, переполненное страстями прошлого. Девушку восхищала величавая осанка многочисленных мостов, упругими стрелами соединяющих набережные, ее поражала грандиозность колонн здания, что называлось на бумаге музеем, а в народе по-прежнему Казанским собором. Ее впечатляли дворцы, хранящие за своими фасадами секреты своих прежних хозяев... В общем, Аля сочла этот королевский город достойным своей персоны и во что бы то ни стало решила в нем задержаться.

Решить легко – сделать гораздо сложнее. Съемки не могли продолжаться вечно, новых предложений от «Ленфильма» не поступало, а труппы ленинградских театров не жаловались на отсутствие талантов и распахивать свои объятия перед юной «почти москвичкой» не спешили. Алей все сильнее овладевали смутное беспокойство и чувство неуверенности в завтрашнем дне. Возвращение в Москву без каких-либо явно обозначенных планов на будущее означало угрозу распределения в провинцию, о чем уже заболевшая звездной болезнью девушка не могла думать без содрогания. А думать приходилось.

– Уедешь, а мы останемся! – насмехались над ней лошади Клодта на Аничковом мосту.

– Я буду царствовать здесь, а ты станешь примой Урюпинска, – ехидно улыбалась с афиши знаменитая актриса.

– Мы свои, местные, с папой-генералом и пропиской в кармане, – читала она во взглядах выпускниц ЛГИТМиКа. – Если и придется уезжать, то не больше чем на три года. А ты? Ну, не всем же в столицах рождаться.

И отравляющие существование письма:

«Как чудесно было бы, Аленька, если бы тебя распределили к нам поближе. Конечно, в районе театра пока нет, но в Пензе, говорят, хороший. Председатель был там несколько раз. Говорит: «Спектакли чудесные, душу на части рвут». Так что это по твоей части. Ты ведь у нас настоящая звездочка. Взглянуть бы на тебя хоть одним глазком! Понимаю, времени у тебя нет: режиссеры рвут на части. Только и видим тебя что на экране. А направили бы тебя в Пензу, глядишь, и виделись бы почаще, и в театр бы у нас был повод сходить. Ты уж похлопочи там на комиссии, чтобы уважили нашу просьбу. И пиши, ладно? Мама».

Если бы и стала хлопотать Аля о чем-либо, то уж точно не о направлении в Пензу.

«Аленька, милая, почему ты не пишешь? Неужели так загружают ролями, что некогда черкнуть родителям пару слов? Если так, то надо обратиться к Фурцевой и попросить разобраться с режиссерами, которые так бесчеловечно обращаются с артистами. Я вот что подумала, дочка: зря мы с отцом так переживали и расстраивались из-за твоего поступка, людям в глаза не могли смотреть после твоего исчезновения. Мы ведь всегда надеялись на то, что ты будешь продолжать жить достойной жизнью советского человека и трудиться во славу светлого коммунистического будущего нашей страны. Актерство представлялось нам занятием мелким и бесполезным. Однако сейчас я думаю, что и в этой профессии возможно добиться больших высот, если создавать образы честных, порядочных, сильных женщин, а не профурсеток, вроде твоей Вали из последней картины. Я, конечно, понимаю, что любовь украшает человека, но советская женщина должна больше всего на свете любить Родину и не забивать себе голову бессмысленными страстями. Надеюсь, ты станешь разборчивей. Где ты теперь снимаешься? Мама».

– Где надо, там и снимаюсь, – только и ответила Аля. И не на бумаге, а у зеркала. И не с доброй дочерней улыбкой, а с перекошенным от негодования и злости лицом.

«Алюша, так и не дождалась от тебя весточки. Недавно нам в клуб привозили «С тобой в разведку». Чудная картина! Нас с отцом просто переполняла гордость. Твоя Нюра – воплощение чести и отваги. Именно такими – смелыми, бесстрашными – представлялись мне партизаны. Бывало, стою в тылу у станка на заводе, слушаю вести с фронта и все думаю: как только женщины решаются вместо того, чтобы укрыться где-нибудь вдали от бомбежек, лезть в самое пекло и шнырять под самым носом у треклятых фашистов? И не я одна тогда удивлялась. А теперь, на тебя посмотрев, удивляется и весь наш колхоз. А девчата маленькие все, как одна, хотят теперь быть как Алевтина Панкратова. Так что популярность у тебя, дочка, неслыханная. Я думаю, что по окончании распределения ты можешь даже не оставаться в Пензе, а смело возвращаться и организовывать у нас в клубе кружок театральной самодеятельности. Председатель, я уверена, даст добро и выбьет тебе хорошую ставку, а от желающих учиться у тебя, естественно, отбоя не будет. Что скажешь? Целую, мама».

Что тут скажешь? Аля сказать не могла ничего. Она уже не злилась и не раздражалась, только хохотала, как сумасшедшая, перечитывая абсурдное предложение матери. И чем веселее и беззаботнее был ее смех в первые дни после получения письма, тем больше грусти и обеспокоенности слышалось в нем, когда перечитывала она эти строки соседке по гостиничному номеру в Ленинграде.

– Ты? В пензенский театр? Ой, держите меня! – притворно хваталась за живот коллега по съемочной площадке.

– Смешно, правда? – пренебрежительно дергала плечом Аля, боясь признаться в том, что с каждым днем перспектива оказаться на далекой от столичного театра сцене становилась все реальнее.

Вид дворцов, мостов и каналов повергал ее теперь в уныние, коридоры «Ленфильма» навевали усталость, щебет молодых актрис вызывал раздражение. Слишком сильным оказалось сожаление от того, что в скором времени придется со всем этим расстаться. Она больше не бродила по улицам, не покупала в кондитерской конфет, чтобы гонять чаи со съемочной группой, не вчитывалась в имена актеров на афишах ленинградских театров, не пыталась примерить город на себя, чувствуя, что он ускользает в зыбком тумане белых ночей. Аля почти поверила, что судьба повернулась к ней спиной. Но вдруг:

– Сегодня съемки до четырех, потом все свободны, – объявил помощник режиссера, не забыв добавив в интонацию заветную нотку интриги.

На интриги брат-актер падок. И вот уже помрежа рвут на части вопросами:

– С чего такая милость?

– За чье здоровье свечку ставить?

– Главный вспомнил о том, что артисты – тоже люди?

– А дорабатывать придется? Я в выходной не могу, у меня спектакль.

– Не у тебя одного.

– Нет, у него, видите ли, планы, а мы побоку.

– А меня, вообще, из театра только на день отпустили. Сказали: «Что там играть-то: «Кушать подано». Полчаса – все дела». А если перенесет теперь сцену? Что мне тогда делать?

– Тогда – не знаю, – откликнулся наконец помреж, – а сейчас – бежать во Дворец культуры имени Первой пятилетки.

– Да что я там забыл-то?

– «Таганка» приехала! – Помреж не скрывал торжества. И тут же со всех сторон:

– «Таганка»?

– «Таганка»!

– Какой состав?

– И Высоцкий? А Высоцкий?

– А что привезли?

– Какая разница, все равно билетов не достать.

– Значит, наш режиссер на спектакль отправится.

– А как же? Ему-то контрамарочку отстегнули.

– Эх, мне бы хоть одним глазком...

– А я двумя посмотрю, – торжественно объявил помреж, взметнув вверх правую руку с двумя зажатыми в ней бумажками.

– Билеты... Билеты... Билеты... – на одном дыхании прокатилось завистливое эхо.

– Два. Один...

– Продашь? Продай мне! Сколько хочешь?

– А почему сразу тебе? Я бы тоже не отказалась.

– А давайте жребий бросим...

– Ох, я такая неудачливая...

– Слышь, Серега, продай! Как человека, прошу!

Серега только улыбался загадочно, потом отреагировал:

– Билет не продается, а дарится безвозмездно. – Быстро подошел к Але, протянул: – Держи!

– Мне?!

Аля почувствовала, как сердце заколотилось в предвкушении невероятного, почти не постижимого счастья. «Таганка» в те годы была мечтой всех и каждого, а уж студенты театральных вузов дневали и ночевали у порога знаменитого театра, лишь бы заполучить вожаемый билетик. Аля днеть и ночевать не могла, потому что много снималась, а когда наконец оказывалась в Москве, вынуждена была сидеть за учебниками и репетировать курсовые работы,

чтобы догнать свою мастерскую и не вызвать неодобрение руководителя, который и так был недоволен вечно отсутствовавшей студенткой. И что же? Получается, если гора не идет к Магомету... «Таганка» сама приехала к ней, и отказаться, несмотря на упадническое настроение, невозможно.

Настроение вмиг улучшилось, Пенза снова стала призрачно далекой, занудный помреж Серега, которого Аля прежде избегала, оказался довольно милым, а злые глаза завистливых коллег – добрыми. Казалось, весь мир радуется вместе с ней и категорически запрещает возвращать вожделенный билет.

Билет лежал в маленькой дамской сумочке – лакированной с золотыми веточками-застежками, под названием «ридикюль», что ее хозяйка, Алина соседка по комнате, выговаривала с почтением придыханием. Сама Аля крутилась у зеркала: укладывала локоны и рассматривала макияж так придирчиво, будто собиралась на самые важные в жизни пробы. Нет, она и не помышляла проникнуть в святая святых и понравиться кому-то из ведущих актеров или (почему бы и нет?) самому Любимову. «Таганка» казалась ей настолько нереально волшебным театром, что хотелось выглядеть достойной этого волшебства, окунуться в миг, когда иллюзия превратится в реальность, стать принцессой, случайно попавшей на бал.

Происходящее в фойе Дворца культуры имени Первой пятилетки на бал походило мало. Актеры, одетые революционными матросами и красными командирами, что-то воинственно выкрикивали и, отбирая у зрителей билеты, протыкали бумажки штыками винтовок. Публика крутила головами одновременно и боязливо, и восхищенно. Перешептывались:

- Какая находка!
- Отличное воссоздание атмосферы!
- Высоцкому так идет бушлат!
- Говорят, он снова будет сниматься у Хейфеца здесь, на «Ленфильме».
- А что за картина?
- Пока не знаю, вроде по Чехову что-то. Я слышала, что пригласили Даля, Терехову и Максакову².

Сказочное настроение Али на какие-то секунды помрачнело: «Других пригласили, а про нее забыли. А она бы тоже могла и по Чехову, и с Высоцким». Но грустные мысли быстро были вытеснены новыми всеобщими вздохами восхищения:

- Демидова!
- И Золотухин, Золотухин!
- Где? Где?
- Да вот же, с винтовкой.
- А у Хмельницкого лента пулеметная.
- Точно. И гитара. А почему гитара не у Высоцкого?
- Да они же все поют.
- Я думала «Доброго человека...» привезут, а тут...
- Вам не нравится? По-моему, очень смело. На злобу дня, так сказать.
- А Брехт не на злобу дня? Доброта в современном мире – понятие устаревшее. И потом обидно: Москва бурлит, Москва кипит, обсуждает, а у нас винтовки со штыками.
- Ну, нам тоже есть что обсудить: «Мещане» в БДТ или «Пигмалион» в Ленсовете. Фрейндлих просто...
- Да «Пигмалиону» уже десять лет скоро стукнет! Смотрите, Филатов в бескозырке!

Аля вспомнила красавицу-актрису, чей исполненный достоинства взгляд провожал ее с театральных афиш, и почему-то стало обидно и за нее, и за весь театральный Ленинград, и за самих ленинградцев, рвущихся посмотреть на московских актеров, как на небожителей, хотя

² Речь идет о картине «Плохой хороший человек» по повести А.П. Чехова «Дуэль».

в их родном городе могли встретиться таланты и равные по силе, и даже более яркие, чем столичные.

Двери в зал распахнулись, артисты, поддерживавшие революционную обстановку в фойе, начали грозными окриками подгонять публику к партеру и амфитеатру. Людская река потянулась к креслам, помреж Серега решительно схватил Алю за руку, чтобы их не раскидало по разным берегам, но девушка руку выдернула и стремительно «поплыла» против течения. Ей захотелось уйти, она почувствовала, что очарование волшебства исчезло. Она хотела проникнуть в сказку, а оказалась... Аля вдруг живо представила себе антракт, во время которого зрители станут обсуждать не постановку, не игру актеров, а их внешний вид и личные проблемы:

– Играет превосходно, с надрывом, но ощущается какая-то потрепанность, надлом.

– Говорят, он употребляет.

– Да что вы?!

– И не только алкоголь.

– А что же еще? Я не понимаю. Нет, вы объясните.

– А вы слышали, что N ушла от А к Б, а потом вернулась, но он не смог простить, и теперь они разводятся, а на сцене продолжают играть любовь?

– Неужели? Какая прелесть!

Аля всех этих прелестей слышать не хотела. И это нежелание во сто крат пересилило внутренний голос, требовавший увидеть игру великих и уверявший, что не стоит обращать внимание на сплетников, которых везде пруд пруди. Аля об этом знала, но плавать в одном с ними пруду не хотела даже ради Высоцкого, Филатова и Демидовой.

Она бросилась к выходу.

– Вас проводить? – перегородил ей путь уже немолодой элегантно одетый мужчина.

Девушка окинула его взглядом: лет сорок пять – пятьдесят, одет с иголки, пахнет хорошим одеколоном, явно прибалтийским, улыбка располагающая, теплая, вот только глаза... глаза настороженные, прохладные и смотрит мимо Али, будто охватывает взглядом все фойе и пытается запечатлеть происходящее в памяти, словно на фотографии. Но вот двери в зал захлопнулись, поглотив в сумраке кресел отчаянно пытавшегося выплыть вслед за Алей помрежа, и незнакомец посмотрел прямо на девушку. В глазах мелькнуло и участие.

– Если подождете буквально минуту, я вас провожу.

Аля хотела пробормотать «Спасибо, не надо», или «Не стоит», или еще какой-нибудь вежливый отказ, но он продолжал смотреть на нее, и не было в его взгляде ни просьбы, ни мольбы, ни даже вопроса, один суровый приказ, который она просто обязана была исполнить. И она не решилась ослушаться. Кивнула, встала рядом, поежилась под отчего-то ставшими неодобрительными и одновременно жалостливыми взглядами гардеробщиц, буфетчицы и даже уборщиц. Ожидание не затянулось. В двери дворца решительно скользнул мужчина, похожий на нового Алиного знакомого как две капли воды. Он был помоложе и повыше, но серый костюм сидел на нем так же безукоризненно и пахло от него тем же тонким прибалтийским запахом и опасностью. Мужчины коротко кивнули друг другу. Вновь прибывший прошел в глубь фойе и прислонился к колонне, а Аля услышала обращенное к ней сухое и резкое:

– Пойдемте!

Всю дорогу до гостиницы он засыпал ее вопросами о съемках и актерах, о разговорах на площадке, о высказываниях режиссера и других членов съемочной группы, а Аля, отвечая мимоходом безобидную околесицу, размышляла о своем. О том, кто неожиданно повстречался на ее пути, она догадалась уже через полквартила странных проводов, но, вопреки общепринятому желанию поскорее избавиться от такого провожатого, почувствовала неожиданный интерес. Он хочет использовать ее в своих целях – что ж, она может быть ему полезной. Но, как говорится, баш на баш.

– Вы оставьте мне свой телефон, – сказала она, прощаясь. – Я, если вспомню что-нибудь интересное, позвоню.

Измученный взгляд, вскинутые брови – он привык к людской нелюбви. Но телефон оставил, даже два. По первому, явно рабочему, Але на следующий же день отозвалась женщина со стальным голосом и объявила, что она «дозвонилась в приемную товарища Артемьева», а вот по второму в течение дня не отзывался никто, и только вечером раздался отрывистый, деловой баритон вчерашнего знакомого:

– Слушаю! Говорите!

Говорить Аля не стала. Не стала ни в тот раз, ни через неделю, ни через десять дней, но звонить продолжала регулярно, проверяя, не раздастся ли на другом конце провода женский голос. Ей отвечал резкий, раздраженный мужской. И через две недели, когда перспектива объятий пензенской драмы стала слишком навязчивой, Аля решилась:

– Я бы хотела встретиться. Это Алевтина Панкратова. В командировку дня на три? Встретиться с вашим коллегой? Нет-нет, я бы предпочла с вами. Да, конечно, подожду до четверга. Да, в центре города будет лучше. Хорошо, просто погуляем.

Аля уже понимала, что тогда, две недели назад, наряжаясь на спектакль «Таганки», она действительно собиралась на самые важные в своей жизни пробы. И она их провалила. Разве так – короткая юбка, вызывающие локоны, яркая помада – должна выглядеть сама скромность и целомудрие, с которой не стыдно и по улице пройти, и друзьям представить? Сейчас, когда она выпросила у судьбы второй шанс, партию следовало разыграть безукоризненно.

Женщина со стальным голосом, восседавшая в приемной, оказалась именно такой, какой Аля себе ее представляла: очки, пучок, неказистый костюм, полное отсутствие косметики, тонкие, плотно сжатые губы и никакого интереса к молоденькой уборщице, в которую Аля перевоплотилась в клозете закрытого ведомства. Впрочем, для обладательниц глаз с поволокой, отменного бюста, который грозил разорвать и без того слишком вольное декольте, жалостливо рассказывающих, что она потеряла ключи от квартиры и «папа-полковник» (фотографию которого Аля увидела пять минут назад на Доске почета) будет очень недоволен, если его дочь по милости бдительной охраны станет разгуливать под дождем в ожидании конца рабочего дня, – для таких девиц охрана не могла не сделать исключения. Через десять минут после искусно разыгранной сцены Аля, облачившаяся в синий халат и старые, залатанные чулки и вооружившаяся ведром и тряпкой, уже вертелась вокруг дамы с пучком и безостановочно зудела:

– Кабинет бы убрать. Мне бы кабинет убрать!

– Я же ясно выразилась, – щеки бесцветной дамы грозили приобрести свекольный оттенок, – Юрий Николаевич в командировке. В кабинете прибрано, и без его разрешения...

– У вас свое начальство, у меня свое. Пыль, она всюду проникает – и через окна закрытые, и через двери заколоченные. А ну как на меня проверку напустят, что тогда? И уволят ведь по вашей милости, а меня на руках двое младшеньких после смерти родителей остались. – Аля шмыгнула носом и провела грязной рукой по вмиг покрасневшим глазам. – Чем я их кормить стану? Ну что вам стоит кабинет открыть, а? Я ж одна нога здесь, другая там: пыль смахну, пол освежу, и готово. Вы постоитте со мной, посмотрите, если не доверяете.

– Ладно.

Женщина встала из-за стола, держа спину настолько прямо, что, казалось, та сломается при любом неосторожном движении. Спину, однако, держали уродские широкие каблуки и предостерегали ее от перелома. Каблуки застыли на пороге кабинета, прислонив спину к косяку двери. Плотно сжатые губы и цепкие глаза неотрывно следили за перемещениями девушки и тряпки. Аля и сама не знала, что хотела найти в кабинете, какую зацепку, какую помощь. Быстро стреляла глазами по сторонам, не забывая орудовать шваброй. Ее внимание привлек томик Тургенева, неожиданно затесавшийся среди собрания сочинений Ленина, неизменного «Капитала» и, конечно же, Конституции. Под портретом Брежнева стоял комод с неза-

тейливыми статуэтками и несколькими курительными трубками. На маленьком столике у торшера лежала прикрытая «Правдой» книга. «Марина Цветаева», – прочитала Аля, смахивая со столика пыль. Тургенев, Цветаева, трубки – хорошие детали для успешной реализации плана, но того единственного, бьющего прямо в цель элемента Аля пока не видела. Она взялась за письменный стол хозяина кабинета – и вдруг...

– Какая красивая! – Она повертела в руках фотографию женщины, осторожно обтирая тряпкой рамку.

Губы надзирательницы сжались еще плотнее, потом процедили:

– Поставь на место, пока не разбила.

– Конечно, конечно. – Аля выпустила снимок, отвернулась, отложив в памяти темные, чуть раскосые глаза, светлые волосы, высокие скулы и волевой подбородок. – А кто это? – спросила почти небрежно.

– Много будешь знать... Давай заканчивай, некогда мне!

– Только со шкафа смахну. Она, знаете, на маму мою чем-то похожа. Та тоже красавицей была, пока ее болезнь проклятушая не доконала. – Алю нисколько не смутил момент похорон собственной живой и вполне здоровой матери. – Вот не поверите: если в профиль посмотреть, так прямо вылитая мама, – новый всхлип и движение грязных рук по глазам.

– Эта женщина тоже умерла, – голос секретарши потеплел. Почему-то многие считают, что лучшим утешением в переживаниях может стать рассказ о чужом тоже свалившемся на кого-то горе. Аля склонна была считать, что от трагедии отвлекают положительные эмоции, но мнение очкастой дамы в данный момент играло ей на руку. – Жена Юрия Николаевича. Ее уже десять лет как нет.

– Такая молодая! – Аля решила, что имеет полное право снова подойти к портрету. Взяла фотографию, повертела в руках.

– Да, – сухо произнесла секретарь, оказавшись рядом с Алей. Она тоже смотрела на снимок, и в холодных глазах ее, как показалось девушке, на мгновение мелькнула жалость. – Рак, – отрывисто добавила женщина и потом чуть более нежно: – Юрий Николаевич так убивался.

– Я тоже до сих пор не могу оправиться от смерти родителей.

– Вот и он все никак забыть не может, – в голосе неожиданно послышалось отчаяние. – Столько лет прошло, а он...

«Классический пример влюбленности в шефа», – догадалась Аля.

– У меня-то забот много, не погрустишь особо. Брат с сестрой еще маленькие, о них заботиться надо.

– А ему заботиться не о ком. Она ему и женой была, и ребенком. «Зачем, – говорил, – мне дети, если у меня Светланка есть?» Надышаться на нее не мог, если бы только пожелала, он бы и звезду для нее достал.

– А она? Она его любила?

– Да я-то откуда знаю! – неожиданно разозлилась женщина. – Давай выметайся, хватит лясы точить!

Аля послушно покинула кабинет. Она узнала более чем достаточно. Объект ее интереса был одинок, нелюдим и безнадежно влюблен в давно покойную супругу – отличный материал для достижения собственных целей.

Перед назначенной встречей Аля провела целый час в кресле гримера. Не потому, что сходства было так сложно достичь, а потому, что образ она собиралась воспроизводить много дней подряд и требовала от художника подробнейшей инструкции, что, как и в какой последовательности наносить. После того как у актрисы не осталось ни малейших сомнений в своих способностях, она отправилась в костюмерную «Ленфильма», откуда под расписку забрала черную юбку-карандаш ниже колена, черную же кашемировую водолазку, высокие сапоги и короткий жакет из светлой замши, – все то, во что была одета женщина со снимка. В номере

девушка переделалась и придирчиво себя осмотрела: новые пробы обязаны были закончиться полным ее триумфом.

Триумф не заставил себя ждать.

– Простите, меня сложно узнать, – сказала она, подходя к скамейке, на которой до этой минуты безучастно восседал человек, встречу с которым по собственной воле не назначил бы ни один нормальный актер. Человек взглянул на нее и онемел. Аля же безмятежно продолжала: – Для роли перекрасили, придется теперь так походить (на ней был парик, но съемочных дней осталось совсем немного, и уж тогда ничто не помешает отправиться в парикмахерскую).

– Вам очень идет, – выдавил он, нервно сглотнув.

– Спасибо. Пройдемся?

– Конечно, – он встал со скамейки и осторожно взял ее под руку.

И они пошли. Она говорила, говорила, говорила...

– Есть предложение сыграть Асю. Не могу решиться. Уже столько великих переиграла, а на Тургенева не решаюсь. Знаете, он ведь мой любимый писатель. По-моему, нет никого более трогательного и проникновенного.

Он ничего не отвечал, только осторожно пожимал ее локоть.

– Так быстро летит время. Смотрите, уже темнеет, а небо какое красивое, – продолжала Аля как ни в чем ни бывало, – помните, как у Цветаевой: «Облачко, белое облачко с розовым краем выплыло вдруг, розовея последним огнем...»

– «Я поняла, что грущу не о нем, и закат мне почудился – раем», – подхватил он, уже прижимаясь к ней все теснее и не сводя с ее лица восторженных глаз. – Может, зайдем в кафе? Становится прохладно.

Аля не кокетничала и не робела. Она старательно играла в естественность:

– С удовольствием.

Удовольствие заключалось в хорошем кофе с коньяком, который появился на их столике через минуту после демонстрации удостоверения, и в осознании того, что ни одно из сказанных ею слов не пропадает даром, ни один из продуманных жестов не остается незамеченным. Аля могла бы всю жизнь прожить в далеком колхозе, не позволяя мечтам распространиться дальше избы или скотного двора, но судьбе было угодно, чтобы она стала актрисой. И она ею стала. Хорошей актрисой, такой, которая может без малейшего напряжения сыграть очень сложную партию и смотреться в ней настолько органично, что самый искушенный зритель не заметит подвоха.

Не заметил и он. Не рассмотрел игры ни в речи, ни в движениях, ни во взгляде. Ни в том, как она нежно улыбалась, ни в том, как сиюминутно, будто от волнения, поправляла волосы, ни в том, как позволила проникнуть в голос дрожащему серебристому колокольчику, когда вдруг всплеснула руками и смущенно проговорила:

– Ох, Юрий Николаевич, я и забыла, у меня же для вас подарок!

– Подарок?!

– Да, честно говоря, это презент одного режиссера. Иностранного, он приезжал знакомиться с «Ленфильмом», зашел к нам на съемки, всех осыпал благами, которые нам, право, ни к чему. Женщине такое, – она робко протянула своему спутнику сверток, – действительно без надобности, но мне почему-то показалось, что вам это пригодится. Я ведь не ошиблась, Юрий Николаевич? Такой мужчина, как вы, просто обязан быть ценителем хорошего табака. Я просто вижу вас в кресле с трубкой. Есть у вас дома такое кресло?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.